

* Б И Б Л И О Т Е К А С Е М Е Й Н О Г О Р О М А Н А *

Валентин Николаев



Том II

Библиотека семейного романа

Валентин Николаев
**Собрание сочинений
в двух томах. Том II**

МОФ «Родное пепелище»

2010

УДК 82-3
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-4

Николаев В. А.

Собрание сочинений в двух томах. Том II /
В. А. Николаев — МОФ «Родное пепелище»,
2010 — (Библиотека семейного романа)

ISBN 978-5-98948-035-7

Во второй том вошли произведения последних лет в творческой жизни писателя. Ввиду радикальных перемен в жизни страны, во взглядах писателя происходит радикальное переосмысление ценностей, всё сильнее и сильнее с каждым новым произведением звучит тревога за судьбу страны, народа, родной культуры. Многие из произведений этих лет отмечены критикой и литературными наградами разного уровня. Появление духовной прозы знаменует новый поворот в творческой судьбе писателя. А рассказы последних лет полны боли за судьбу маленького человека, брошенного на произвол судьбы, и тем не менее не утратившего своего человеческого достоинства, по-прежнему стремящегося к высшему проявлению добра и правды.

УДК 82-3
ББК 84 (2 Рос=Рус) 6-4

ISBN 978-5-98948-035-7

© Николаев В. А., 2010
© МОФ «Родное пепелище», 2010

Содержание

В России в непогоду	7
Записки с полуострова или радости и страдания на Макарьевском тракте	7
1	7
2	12
3	13
4	15
5	16
Раздумья провинциала во все времена года	18
Весенние сроки	18
Лето	37
Раздумья на осенней тропе	40
Гиблая осень	50
Стужа полей	59
Истоки дней и рек наших или воспоминания о Волге	70
Текущее лето	70
1	71
2	72
3	72
4	72
5	73
6	73
7	73
8	73
9	73
10	74
11	74
12	74
13	75
14	75
15	75
16	76
17	76
От первых туманов до первого снега	77
1	77
2	77
3	77
4	77
5	78
6	78
7	79
8	79
9	79
10	79
11	79
12	80

Метельный стрежень	80
1	80
2	80
3	80
4	81
5	81
6	81
7	81
8	82
9	82
10	82
11	82
12	82
13	82
14	82
15	83
Перезвоны и разливы	83
1	83
2	83
3	83
4	83
5	84
6	84
7	84
8	84
9	85
10	85
11	85
12	86
13	87
14	87
Свет слова и тоска по мастеру	88
I. Бессонница слова	88
Конец ознакомительного фрагмента.	92

Владимир Николаев
Собрание сочинений в двух томах. Том II
Эссе. Духовная проза. Рассказы

© А. В. Николаева – наследница

© НООФ «Родное пепелище»

В России в непогоду

Записки с полуострова или радости и страдания на Макарьевском тракте

1

Весной, в апреле, меня, как перелетную птицу, тянет на север. Тянет к дому. Дом пуст, в нем никто не живет, он ждет меня всю долгую зиму и заметно стареет. Любой дом без хозяина стареет быстро, его будто съедает тоска.

Я помню, как мы его строили. Ходили с отцом по ровному полю за телегой и бросали в нее камни. Лошадка была спокойная и, наверное, впервые брела по пашне свободно, куда захочет. Не спешили и мы: у отца болело сердце, а я все повторял упругую библейскую притчу: «Время разбрасывать камни, и время собирать камни». Мы собирали, и я радовался. Библейскую мудрость понимал я тогда почти буквально, потому что было мне 16 лет. И ездили мы по тому самому месту, где встанет потом дом деда, где и будет лежать эта Библия, знакомая мне с детства и единственная на всю деревню. Из старой деревни нас выжила большая вода Горьковской плотины на Волге. Было это 35 лет назад, в 1954-м.

Как переселенцы жили мы временно у сестры матери – тетки Дуни, ютившейся, сколько помню, в покосившейся боковуше (половине дома). Солдатская вдова с двумя дочерьми, она всю жизнь проработала на колхозной ферме почти бесплатно, потеряла там здоровье, но не растратила душевной доброты.

Камни с телеги мы ссыпали в шесть ям, которые стали тупиками нового дома, а значит – и новой родины.

Строился отец один, без нас, сыновей, нанимал плотников. Братья мои Николай и Борис служили тогда в армии, а я уезжал учиться. Собрались мы все вместе, когда приехали хоронить отца и докрывать дом. Надо было обживать пустую двороину – ребристую поверхность поля, зарастающую травой. Я помню, как ходил в лес драть дранку и крыл ею двор, как сажал возле дома первые березы, черемухи, калину...

Прошло двадцать лет, выросли березы возле дома, как и на могиле отца – ровесницы. Прижились и состарились яблони, которые отец перевез из старой деревни. Дворина дома заросла травой, шиповником, смородиной и малиной. И сейчас скажу, какой куст кто и когда сажал. Много раз вкапывал я в проулке маленькие дубы и липы, но страшные ветры с «моря» выдували, губили все. И не удивительно. Всю зиму грохотала железом крыша, в любой миг готовая сорваться и улететь. Хорошо, что отец догадался перекинуть через нее две цепи. Они и держали. С других домов крыши срывало. Снегу наметало вровень с тыном.

Многие годы мать зимовала одна вместе с кошкой, козой и курами. Коровы и овец давно уже не было: негде было косить да и некому. Николай работал в затоне, плавал по Унже на катере. Он и следил за домом, урывками навещал его то в выходные, то в отпуск.

И вот снова мы собрались у дома все вместе: мать пережила отца ровно на 20 лет.

И дом осиротел. Теперь в будни его проверяла только соседская кошка, оставляя на снегу одинокие следы.

Брат появляться стал еще реже.

Сдав катер затонской охране, шел он двадцать пять верст заснеженными полями наедине со своими думами. Я представляю, как входил он среди ночи в нетопленный тем-

ный дом, усталый, голодный, и первым делом заводил часы. Потому что остановившиеся в простуженном доме часы наводят гнетущую тоску. Наверное, его неудержно клонило в сон, но он шел на колодец за водой, приносил дрова, затоплял печь... Потом сидел, глядел в раскрытый гудящий зев печи, курил и постепенно отходил душой и телом.

Что его сюда звало в течение шести лет после смерти матери? Воспитанный и выучившийся на стороне, давно порвавший с колхозом, он, видимо, до конца так и не мог порвать в себе крестьянскую нить: подправлял изгороди, красил крышу, законопачивал щели в пазах.

Летом, сдав сменщику катер, приходил косить траву в огороде, сушил сено, метал стог. Но кому? Скотины уже никакой не было, но он не мог допустить, чтобы трава перестояла или осталась вовсе некошенной. Стыдился соседей.

Много одиноких дней провел он тут, глядя из окна на плес, на суда, где была его настоящая работа. Будто смотритель маяка, следил по березам за ветром, слушал радио, погоду...

Потом уезжал на свое судно, на вахту. Только теперь понимаю я, сколько сил и долготерпения требовалось ему, чтобы хранить этот дом, поддерживать в нем жизнь. Он был болен и одинок, врачебную комиссию обманывал уже не первую навигацию. Но в ту зиму все-таки покинул дом. Надолго. Он боялся умереть в доме один среди холодной зимы. Он не ошибся и рассчитал все верно: смерть настигла его в городе.

А через две недели позвал к себе другого брата...

И остались в этом мире мы с домом вдвоем: я в городе, он – в деревне.

Дом стоит высоко над водой, один на угоре. Над ним вечным парусом бушует береза, а выше берез – звезды. Жизнь из дома выветривается постепенно. Первой – еще раньше хозяина – уходит кошка. И тогда наступают, выживают хозяина из дома мыши. Они пищат, нагло разгуливая по столу среди бела дня. Но когда уходит и хозяин, отступают и они. И дом немеет. Он теряет жилой дух, как живую душу, в нем поселяется запах нетопленной печи, брошенных ведер, одежды, обуви... В подполье принимаются расти диковинные грибы, бревна обметывает, как паутиной, белой скользкой плесенью. Дом не борется, он сдается. И начинает на глазах стареть. Казалось бы: никто не ходит, не хлопает дверьми, не расшатывает половиц, не сотрясает стены и печь... А он сникает.

И даже природа не противится этому акту. Напротив, стоит хозяину уйти за порог, как тут же вокруг дома начинают буйно с какой-то дурью вымахивать лебеда, крапива, татарник, иван-чай. Они обступают дом плотным кольцом, прорастают сквозь щели крыльца, заглядывают в окна. И это срабатывает как сигнал для всех прохожих, ближних и дальних соседей: «Не зевай, тащи что можно, ломай, круши!..» И взламывают окна, двери, выворачивают «живьем» плиты, дверки из печей. Топор, молоток, веревка, забытая иконка в упечи – ничто не спасется от новоявленного варвара. Он забыл уже и не вспомнит о том, что в доме этом едал, пивал, может, с бедой приходил какой или болезнью... Все забыто, нет хозяина, и никого не стыдно.

Умиравшее человеческое жилье всегда печально. Это губительно и для подрастающего поколения. Увы, не избежала этого наша российская деревня.

После смерти матери я долго не бывал в родительском доме, во всем полагаясь на брата. А в первую весну после ее похорон не находил себе места и все же решился. И время было как раз перед Пасхой, и я один был в доме. Но среди ночи, во сне, навалилась такая тоска, что я не знал, как пробудиться. А пробудившись, скоро собрал вещи, закрыл дом и босиком, неся ботинки в руке, как пьяный пошел в поле. В болоте умылся, попил из лужи, отдышался на кочке и только тут услышал птиц, утро, весь мир.

С тех пор я боялся заходить в дом.

Но после смерти Николая ехать туда, кроме меня, было уже некому.

Конечно, я знал, что меня там ждет. «Но если не решусь обживать дом весной, то потом будет еще труднее! В апреле все движется: вода, воздух, снег, трава, и даже земля – все меняется не только с каждым днем, но и с каждым часом. Одолею...» – подумал я и собрался.

Летом я мог бы добраться до дома за четыре часа теплоходом, но зимняя дорога – целое путешествие.

Всю ночь я маялся в жестком вагоне поезда, который вез меня куда-то на север, к Ярославлю.

В ранних утренних сумерках вышел в Нерехте. Очередь за билетами на автобус, давка.

Куда только не едет российский народ! Не бывает и минуты в стране, чтобы кто-то не находился в пути. Покинув один дом, человек не ведает, когда и как доберется до другого. Путешествие по нашему Нечерноземью до сих пор не менее рискованно и загадочно, чем у героев Жюль Верна. Но увы, совсем без романтики.

Пропустив один автобус, я все-таки вырвал себе билет на второй. И опять давка. Какой-то сухопутный лейтенант плебейского вида с редкими сивыми усишками и в кожаных черных перчатках берет автобус приступом. Оставив жену с плачущим дитем и чемоданом на земле, утвердился в дверях автобуса и командует сверху:

– Пропустите там!

Ребенок ревет, жена кричит, толпа ропщет, а офицерский чемодан плывет над головами в автобус.

Утискались, едва закрыли дверь.

– Уступите там! – опять командует лейтенант, не снимая перчаток, и все кого-то ругает. Ребенок не успокаивается.

– Жрать просит, дай ему! – командует жене, устраивающейся у окна. Пробрался к своим и плюхнулся на мое сиденье рядом с женой, вцепившись траурно оперчаточенными руками в спинку переднего сиденья.

У меня на плече тяжеленный рюкзак (считай весь дом тут), в руке, будто каменная, сумка, но я ничего ему не сказал. Даже не попросил убрать перчатки, чтобы хоть одной рукой я смог держаться на ходу автобуса. Мне жаль было его жену, ребенка и солдат, которым достался он в командиры...

Разные люди едут по России. И разные думы везут с собой по разбитым бесконечным дорогам.

В Костроме, едва сошел с автобуса в надежде где-то поесть, привязалась цыганка:

– Дай ребеночку пять копеек на молочко. Дал ей двадцать, она воспряла:

– Хочешь погадаю? Скажу всю правду, что тебя ожидает в жизни. Ждет тебя большая удача...

– Не надо, я все знаю сам.

– ...но счастья у тебя не будет. Ты сам его погубишь...

Опять очередь, и опять автобус. И снова со мной рядом молодая мать с вещами и ребенком, который спит у нее на коленях, а она спокойно читает книгу. На остановке доверила сонного ребенка мне и даже сбегала в магазин. Она не нервничает, и ребенок не пробудился всю дорогу. Разные матери, и разные дети.

В Макарьево, ожидая другой автобус, вспомнил цыганку: «Ждет тебя большая удача, но ты сам все погубишь...» Но может ли быть большее счастье, чем дом, родина? И кто жаждет погубить все это? Думай как хочешь?

На склоне дня меня помчал третий автобус, уже на юг, как бы в обратную сторону – я замыкал огромную петлю вокруг ледяной пустыни Горьковского моря и приближался к отчему дому. Приближение это я мог бы угадать и с завязанными глазами по той особой дороге и той диковинной манере шоферов, каких нет, наверное, уже в мире. Представьте себе, когда среди разнообразных бесконечных тычков снизу, слева и справа вдруг будто что

взрывается под автобусом и все люди, рюкзаки, чемоданы летят вверх, стукаются о потолок, там зависают на какой-то миг как в невесомости и потом рушатся вниз, в общую кучу... Но шофер не сбавляет хода и даже не оборачивается, а газует дальше. Только в этом автобусе рюкзак я привязываю веревкой к сиденью, и всю дорогу не снимаю шапки, чтобы не разбить себе голову. Около пяти часов пыль в автобусе стоит сплошным облаком даже зимой. Хорошо себя чувствуют в этой «машине времени» лишь пьяные лесорубы и сплавщики. В ватных штанах и огромных валенках с калошами они не боятся ушибов, переломов, а от души смеются и острят, валясь кучей на испуганно крестящихся старух, уже как бы простившихся с этим миром. Самое удивительное, что лесорубы не поправляют свое тело после этих гигантских тычков, а лежат или сидят на полу в той позе, как их бросило, посмеиваясь, курят, а иногда даже и попивают прямо из горлышка. Они давно ко всему приучены, начиная со своей чудовищной работы. Наконец после двух сильнейших взлетов и падений наш экипаж встал как вкопанный среди поля, шофер открыл дверь и объявил, что дальше ехать немислимо, иначе он не вернется восвояси.

Мы вышли в вечернее поле и даже обрадовались вольному воздуху и покою. У меня была самая тяжелая ноша, а идти мне предстояло дальше всех. Сначала я держался бодро, но постепенно попутчики чуть-чуть ушли вперед, потом еще отделились, но я их еще долго видел всех в одном поле. Солнце склонялось к ельнику, увеличивалось и краснело, кричали чибисы, кувыряясь над вытаявшими болотинами. В длинных резиновых сапогах я не выбирал дороги, а потому глядел окрест, радуясь новой весне.

– Дойдешь? – спросил меня последний попутчик, оглянувшись на прощанье.

– Дойду, – ответил я и снял рюкзак, чтобы расправить плечи и остаться одному. Теперь я был никому не в тягость и шел медленно, с наслаждением, следя за утихающим ярким днем. Когда стало темно, достал из рюкзака фонарь и один светил им в ночном поле. Однако все чаще снимал и бросал рюкзак на талый снег обочины. И все труднее вскидывал его потом на спину. Ноги еще шли, но плечи уже ныли, и меня все неожиданнее поводило на развезенной дороге. Нагнали две грузовые машины, по очереди высветив меня фарами почти за километр. Я голосовал перед той и другой, но они даже не сбавили хода. Нет, я не осадил своего сердца печалью и злобой от их поступка, а ступал все так же и пытался себе представить каждого из них за рулем, и что каждый из них подумал обо мне. Всего скорее то, что идти мне остаюсь совсем недалеко и что я только испачкаюсь в кузове машины.

Живет еще в деревенском человеке и такое понятие: хорошо одетому (в нерабочее) человеку не может быть плохо в деревне, поле или на дороге... Это засело в душах крестьян от времен всяких инспекторов, агентов, проверяющих, которые с добром в деревню никогда не шли, а только – обложить налогом, потребовать, предписать или просто напугать. Поэтому и помогать им не следует, а как попал, так пусть и выбирается. Наоборот, еще дорогу гиблую при случае можно показать.

Помня послевоенную деревню, я хорошо это знал, а потому и не осуждал и не спешил, несмотря на глухую ночь. Да и куда было спешить, в нетопленный дом?

Чтобы сохранить остаток сил, я свернул на луговую кулижку в поле и разжег под елью костерок из сухой травы и сучьев. Достал из рюкзака еду, пожарил на прутике, как шашлык, колбасу с хлебом и, привалившись спиной к шершавому стволу ели, даже уснул на какое-то время, прислушиваясь к тонкому голосу не спящего возле леса чибиса. Когда начала прохватывать дрожь, с охотой взвалил на спину рюкзак и, не гася костерка, двинул дальше. Шел и все оглядывался на живой огонек, и было нас в этой ночи уже двое.

Кто знает, сколько миновал я в ночи сонных деревень, глухих и темных, будто погруженных в вечность. Помню только, что на краю какой-то сиротской, всего из пяти или шести домов, где не слышно было даже собачьего лая, свалился я на ступеньки старого амбара и долго облегченно дышал, глядя в холодное небо. Ах как хорошо лежать на сухом дереве,

раскинув руки и ноги! Я даже рад был, что утро не скоро и меня никто не потревожит. Лежал и думал, что иду древним Макарьевским трактом, некогда оживленным. До революции один из моих дальних родственников служил на этом прогоне Юрьевец – Макарьев ямщиком. Веселый человек был, петь и плясать любил. А вообще дорога эта ходима и ездома была еще с XII–XIII веков. И не только для простого люда. Цари на богомолье по ней ездили. А Михаил Федорович, родоначальник дома Романовых, более 20 верст шел вот по этой дороге пешком. В октябре 1620 года, вместе с матерью и со свитой шел царь в Макарьевский монастырь – исполнял данный Богу обет. И в каждой деревне, где останавливался на отдых, рубили крестьяне деревянные часовни. Не один век затем щедроты царского дома обильно нисходили на Макарьевский монастырь и унженское понизовье. Не знал здешний мужик крепостного гнета еще и потому, что рыба, мед, рыжики, грузди всегда поставлялись из богатых здешних вод и лесов к царскому столу.

Давно все это было. И не видел я никогда ни одной часовни здесь, да и не верилось даже, что стояли когда-то. «А как бы хорошо, – мечтал я на ступеньках амбара, – теплилась бы в каждой часовне свеча или лампада, как живая душа деревни, и не было бы так одиноко и сиро в ночи. Всякий путник тянулся бы на этот свет и кланялся мысленно или въявь трепетному огоньку как памяти давно почивших здесь предков.

Глядишь бы, и я сейчас шел и загадывал: отдыхал царь в следующей деревне или нет?...» Но давно, наверное, миновал я те деревни да и шел в обратную сторону.

Какие-то птицы поспешно просвистели крыльями над моим амбаром. Не было ни звезд, ни месяца, и ничего я не увидел в небе. Вспомнил, что идут вторые сутки моего беспрерывного движения по весенней земле, и двигаюсь я теперь не на север, а на юг. «Надо, надо идти...» – говорил я себе поднимаясь. И по-прежнему не узнавал ни дороги, ни деревень.

Я знал, что где-то здесь стоит уже много лет большая привольная деревня, где все дома аккуратно заколочены (окна и двери), а люди уехали все разом в одно место на север, кажется в Мурманск. И не продали пока ни одного дома. Крепка же должна быть обида, побудившая их на это, и достойны уважения их единение и гордость. Поступок этот так подействовал на земляков, что до сих пор не тронут ни один дом, не оторвана ни одна доска. И ходит молва, что однажды люди вернутся, и тоже все вместе. Почему-то хочется в это верить и мне. И жаль, что не поступили так все деревни Нечерноземья: глядишь бы, застойное начальство небрежно-брежневской закваски пораньше очухалось от дури.

Неожиданно спустился я в какой-то овраг с ельником, и когда остановился на деревянном мостике через бурлящий поток, понял, что дошел до речки Устанки. Будто гора свалилась вместе с рюкзаком с моих плеч: я был в родных местах! Глаза мои защипало как в детстве после напрасной обиды и перед новой радостью жизни. В овраге с южной стороны еще белел снег, ели на этом снегу будто дремали, покоясь в легком туманце и слушая бесконечный говор вешнего потока. Я выключил свой фонарь и не мог наслушаться, надышаться сырым хвойным настоем оврага. Душа моя окончательно успокоилась, рюкзак из безжалостного нахребетника с давящей тяжестью превратился в первого друга, у которого есть все необходимое для меня на эту весну.

В два часа ночи я был в Нежитине, постучался в дом под старыми липами. Восьмидесятилетняя тетка сразу узнала меня, заохала, запричитала. Раздеваясь, я ей рассказывал о своей дороге и жизни, спросил о доме.

– А стоит, стоит... – отвечала она. – Ждет. Осиротел дом-то совсем, ждет тебя... Она уже путала день и ночь, не могла наговориться, а я лежал на горячей печи и медленно погружался в сон.

Ложась, я велел разбудить себя рано утром, однако проснулся, когда день уже сиял вовсю.

– А уж спишь больно хорошо, – улыбаясь, оправдывалась тетка. – Погрейся на печке, свою-то не скоро еще оттеплишь.

Хорошо было у нее в тихой уютной избе, и потянуло к дому еще сильнее.

Когда я взвалил снова на плечи рюкзак, то с трудом поверил, что нес его вчера без малого двадцать верст. Хоть и отдохнул, но всего меня как-то перекосило, и вновь я осел под ношей.

Дорога еще держалась ночным морозцем, и шел я поначалу довольно бодро. «Всего-то два поля осталось», – думал с радостью. Раздольно было в полях, играла, светилась вода, ворковали на опушке леса голуби, солнце пригревало все больше, и уже оттаивал ночной ледок. И свои, родные теперь были места. Одно плохо – некуда было поставить рюкзак, чтобы передохнуть, полюбоваться всем. Но маячил впереди омет соломы возле дороги. До него я и шел. Верх омета обтаял и слегка струился нагретым воздухом. Идти к омету надо целиком, полем. Разогнул сапоги, побрел – вдаль от дома. А что делать, вокруг поля, ни сесть, ни облокотиться, а до ближнего перелеска не дойду: все-таки перегрузил я свою ношу. Вот и омет – как дом, с южной стороны обтаял, просох. Залез я на него вместе с рюкзаком, раскинулся один на все поле и небо – благодать. Теперь уж все, как не мучай меня дорога и ноша – а я дома, одно поле осталось, и целый день отпущен мне на него. Вон он дом; с омета я вижу березу над крышей – значит, и дом тут, под березой: дойдешь до середины поля и начнет выглядывать, а пока не видно. Пахнет просыхающей соломой, мышами, все больше греет солнце.

Какое-то время я лежал с закрытыми глазами и мысленно представлял все свое путешествие за эти двое суток, запоздало прикидывал: стоило ли все это затевать, обрекать себя на добровольное испытание?.. Вдруг тоненько крикнула надо мной будто бы чайка. Я прислушался, а когда открыл глаза, увидел, как далеко в небе белым серпиком, будто припозднившийся месяц, она медленно парила над моим ометом. И душа моя прозрела: как сквозь пелену услышал я переливчатые трели жаворонков по всему полю, попискивал куличок в разливе возле самого леса, прошмыгнули над ометом поспешные галки...

Я услышал весенний мир, включился в него, и все дорожные невзгоды враз отодвинулись, измельчали, и не хотелось о них больше вспоминать. Мир словно распахнулся и вырос. Собираясь, я дал себе слово не трогать запасы из рюкзака, пока не ступлю на крыльцо родного дома. Но тут нарушил свое обещание: распаковался, налил в крышку термоса водки и, глядя на березу над своим домом, выпил за возвращение. И ах! Так хорошо мне стало. Я не заметил даже, как потихоньку запел.

К дому своему я рвался уже не дорогой, а напрямик, полем, выбирая земляные обтайки. И с каждым шагом дом как бы вырастал, поднимался на цыпочках, будто хотел разглядеть, кто там в нетерпении спешит к нему впервые за всю зиму.

2

И храни как заповедь в деревенском доме: «Вода и дрова – прежде всего». Пусть ты смертельно устал, иззяб или заболел в дороге, но едва переступил порог – вспомни эти два слова и исполни их. Полусонный, дрожащий от холода и болезни топи печь, а потом залезай на нее и забудь все печали. Пусть она отдаст холодом, пахнет печиной – ничего, лежи и жди. И не заметишь, как тихий сон сморит тебя и приснится тебе теплое лето детства. В полночь или к утру печь прогреется и высосет из тебя болезнь и усталость. Чем больше будет прогреваться печь, тем глубже и счастливее будет твой сон. А проснешься в солнечный полдень с радостью на душе, проснешься, как вынырнешь из глубины, и воскреснет для тебя забытая жизнь. Сучок на потолке, изображающий путника в пургу, напомним детство;

старые валенки, подшитые еще отцом, приведут в умиление... И пойдешь ты по своему дому, как по музею. И все будет радо тебе.

Я прожил детство в деревенском доме, но оказалось, многого не знал. Каждый день мать топила русскую печь, и я видел, как она это делала, а сам впервые затопил вот только сейчас. Открыл трубу, вьюшку, поджег дрова, лугу... Дыму полная печь, а скоро и упечь – нет никакой тяги. Полез на крышу (с крыши поздоровался с соседкой), добрался до трубы, из которой едва курилось, заглянул внутрь – чисто. Ничего не понимая, опять бегу в избу, а там уж и окон не видать: все тонет в дыму. Распахнул дверь и в панике на чердак. Когда разобрал боров, все стало ясно. В последнем колене дымохода грубо топорщилось прутьями огромное галочье гнездо, и яички уж лежали. Я выволок весь этот хлам, и спертый дым кинулся на чердак. Скорее заложил дыру кирпичами, и бегом на улицу. Будто вздохнул мой дом – весело и свободно задымил в просторное небо. Так началась новая жизнь.

Утром глянул по очереди во все окна. С южной стороны вытаяла лужайка перед домом, и по ней деловито и важно вышагивает вразвалку птица: в широких черных шароварах и с белой трубкой во рту, будто запорожский казак... Нет, не ворон, а грач. Прилетел, вернулся, как я, и вот уже изучает родную землю, поправляет что-то после зимы в траве. Пора и мне на улицу. Взял топор, пошел проверить изгородь и вдруг слышу прямо над ухом:

– За сколь дом-то продавать будешь, Валенте-эн?

Я вздрогнул: почти вплотную подкралась ко мне по вытаявшему лужку соседка Ия. Не соседка она, живет через дом, а дом этот меж нами пуст, значит, можно назвать и соседкой.

У меня еще ломило плечи от двухсуточной дороги, еще не огляделся в дому, а уж «продавай»... Обидело меня это приветствие, и я ответил ей сухо:

– Родину не продают.

Она задумалась, потом поддержала:

– Да... да-да. Вэрно ты говоришь, вэрно, – сильно ударяя на «е», в задумчивости сказала она и пошла мимо дома к магазину.

Оставшись наедине, я перекладывал трухлявые жерди изгороди и все думал, почему с такой легкостью многие дети продают нынче родительские дома в деревне. Они будто спешат отделаться от своего прошлого, от отца, дедов, бабушек, от своего детства. Или все это давит на них былой бедностью, бесправием, колхозным происхождением? И они мстят по-своему за то унижение?

Но проходят годы, и смотришь, едет кто-то всем семейством в свои родные места, но уже в гости к тетке или своим деревенским соседям. А еще через какое-то время покупает ветхий домишко вблизи родных мест.

Правда, иные уезжают начисто, будто сквозь землю проваливаются. Только глухие слухи и доходят: спился, в тюрьме, умер... Но таких мало, редко.

3

О, родная земля! Одни косноязычно клянутся тебе в любви с московских проспектов, всенародно заверяют в преданности и крестьянской закваске. Других словно перекаати-поле носит ветер судьбы по широким российским просторам, и не знают они до старости «ни дому, ни лому», но все ругают кого-то, сиротствуют, бия себя в грудь: «Я свет и совесть твоя, Россия!» Сквозит во всем этом выгода саморекламы, чутье конъюнктурщика. И едва ли среди этих «страдальцев» найдется один, который, уходя из родного села, посадил бы на родине хоть березку или сосну на память о своей родословной. Где там... Скорее спешат продать все нажитое родителями. А на остатки дворины, если дом куплен на дрова, как падальщики на добычу слетаются туземцы – тащат доски, кирпичи, выкапывают вишни и яблони... То же самое творят и с оставленными домами, еще не проданными, но уже кинутыми на

произвол судьбы. И это по всей России, а точнее по всему Союзу. За двадцать лет застоя внутри страны погибла целая крестьянская держава. Это была тихая война без выстрелов и взрывов, но она основательно подкосила нашу экономику и мораль.

В таком виде застал я и свою родину. Старые березы посреди деревни рухнули, а новых никто не посадил. Крыша на моем доме протекла, печь облупилась, изгороди пали... Всюду обреченность.

И вот я хожу по дому и огороду, пытаюсь замазать глиной печь, закрепить топор на топорище, застеклить раму, хоть временно заделать протек в крыше. Устаю от неумения и одиночества, но пробую снова и снова – будто сдаю запоздалый экзамен на крестьянскую суть. В минуты отдыха затихаю, как в музее. Перекладываю молотки, шило, напильники, рыбацкие иголки... Все сделано, приобретено отцом. Залезаю на чердак, сеновал. Глажу кросна матери, грабли. Вот торчит в щели старый, сработанный серп, коса поржавела... Все валяется без движения, без дела, никому уже ненужное, словно из другого века.

И не тоска, а какое-то иное чувство не то вины, не то взаимной обиды будто висит в воздухе между мной и этими вещами. Оставленный крестьянский дом тоскует как живое существо, которому связали руки и ноги, молча взывает о помощи. Мне первому из всего нашего роду-племени досталось увидеть и испытать это. И толкнуть жизнь в доме почему-то трудно, будто переступить роковую черту. Первое желание – закрыть дверь и уйти к родне, соседям. Но это похоже на предательство.

Топлю еще раз печь и собираюсь проведать лес. Ведь и в доме хожу еще в валенках, фуфайке и шапке, от дыхания исходит пар, руки зябнут. В лесу теплее.

А над домом уже летят гуси. Высоко, медленно. И по детской охотничьей привычке меня охватывает нетерпение. Снаряжаюсь под вечер. Еще не достиг ближней рощи – бежит полем наперерез солдат с овчаркой. Молодой, без пилотки и без ремня, гимнастерка на ветру будто колокол. Запыхался, кричит на бегу:

– Подожди!..

Собака, прыгая через кусты, преграждает мне путь. Солдат подбегает вплотную:

– Дай патронов...

– Кому? – спрашиваю. – Ты охотник? – Да... дома все есть, и ружье, и билет. Осенью дембель. Дай, утки прилетели, вечером пойду. Я с Украины.

– Но... не положено. Из чего стрелять будешь?

– У меня обрез есть.

– А офицер узнает?

– Не узнает, мы прячем. Дай, вон в то болото к ночи прилетят. Три патрона всего, я с детства охотник. Ничего не будет...

Что делать? Патронов и у меня не густо, а обрез еще больше вводит в смятение. Под великим секретом, взяв с него слово, что не будет никаких ЧП, дал ему два старых патрона отвести душу и с неприятным чувством двинулся через кусты дальше.

Перед закатом обтаптываю местечко среди молодых елок рядом с валежиной, чтобы стоять и сидеть было удобно до самой ночи. Вокруг и земля, и вода, и снег еще есть. Только в сырых болотах и встречается все это разом. Хорошо. Тонко пахнет молодыми елками, болотиной и холодом снеговой испарины. И вот поднимается какой-то дым над краем болота, густеет, потом заиграли языки пламени, бегут по сухой траве к можжевельникам... Стукнул тупой выстрел. «Уж не мой ли солдат?» – мелькнула догадка. Срезал ножом нижнюю лапу от ели и пошел на дым.

На краю болота в зарослях сосняка вижу, стоит знакомый солдат с обрезом, курит и любуется приближающимся к нему пожаром.

– Ты поджег?

– Я, – отвечает он с улыбкой. – Сейчас полетят.

– Кто же полетит на дым, на пожар? Сейчас огонь доберется до можжевельников и сгорит весь наш перелесок. Летом здесь ни ягоды, ни гриба не найдешь... Давай тушить!

Я отдал ему свою еловую лапу, себе срезал другую, и мы начали хлестать ими по огню, по прошлогодней сухой траве. Успели, обгорел только бок крайней можжевельникины.

– Эх ты, охотник, – заметил я ему.

– Но деревенские сами поджигают, – оправдывался он.

– Поджигают на открытых полях и лугах и так, чтобы огонь не добрался ни до леса, ни до деревни. С умом делают.

– Не сердитесь, я вам завтра соку березового трехлитровую банку принесу. Я знаю, как добывать...

– Не надо ничего. Я сам умею. Иди вон туда, а я здесь останусь. Может, полетят еще. И солдат послушался, ушел через горелый луг за дорогу в другое болото.

Утки пошли уже в сумерках и очень высоко, я не стрелял, а только слушал торопливый посвист крыльев.

«Бумм!» – будто кувалдой долбанули в соседнем болоте. Я выдохнул с облегчением: «Слава богу, больше патронов у него не осталось...» Домой шел в темноте и все думал, как долго у человека нет ума. И радовался, что больше с этим бестолковым солдатом меня ничего не связывает. Но рано радовался.

Когда вошел в свою уютную избу, размеренным ходом тикали часы, будто и не останавливались никогда, тихонько играло в углу радио, печь дышала теплом. Я достал из нее чай на травах, напился, залез на эту же печь и проспал до полудня.

А проснувшись, отправился за дровами к бане и вдруг замер, пораженный: ствол ближайшей к бане березы был грубо подрублен тупым топором. Прозрачный сок стекал из рваной раны по жестяному лотку в трехлитровую банку. Я понял, что это «услуга» моего вчерашнего солдата. Забыв о дровах, вернулся в дом. Отыскав старую краску и кисть, я насухо протер рану березы тряпкой и тут же закрасил. А банку... подумав, с размаху ударил по ней поленом и пошел топить печь.

Вечером, когда вновь гулял по огороду, под березой не обнаружил ни единой склянки: догадался, видимо, мой доброжелатель, что опять вышла медвежья услуга, и все убрал. На это я и рассчитывал. Береза не погибла, она распустилась, но поздно, и лист на ней был какой-то мелкий, хилый.

Вот, пожалуй, и все на солдатскую тему в деревне. Остается только добавить, что раньше на месте нынешней казармы была колхозная ферма. И немало тут пролили слез во время войны солдатские вдовы. А вместе с ними и моя тетка Дуня. Она работала дольше всех, лет тридцать, без премий и наград, и выработала себе пенсию в двенадцать рублей.

Однако и солдаты не зря жили-служили: построили хорошую казарму, насадили вокруг молодых берез, вовсе не ведая о том, что именно здесь и росли когда-то самые старые в деревне березы. Но рухнули, не дождавшись всеобщего благоденствия, а ферму, говоря по-военному, расформировали как неперспективную. Говорят, что скоро и военную точку ликвидируют. Скорее бы. Но останутся березы. В этом мне видится какая-то особая справедливость земли. Может, она что-то помнит или чувствует и по-своему вершит справедливость. Хоть это вселяет слабую надежду. «Да поможет нам Бог и сельсовет», – как говаривал покойный брат Николай, некогда посадивший эту искалеченную солдатом березу.

4

В апрельский предрассветный час по-детски доверчиво дремлет Земля. Ее космическое пробуждение всегда ново, и нет ничего отраднее, как брести в этот сокровенный час оттаявшим полем.

По-ле – звучит легко и просторно, как свободный выдох. Сколько дум передумано, сколько слез пролито, сколько песен и горя развеяно тут временем... Но не осталось на самом слове ни тяжести кабального труда, ни сиротства, ни бедности. Живет в нем вечная мечта и свобода духа.

В полночь я распахиваю дверь своего дома и ступаю будто сразу в космос: такая плотная тишина пропитывает всю многоверстную тьму ночи, что душа сжимается в точку и замирает в ожидании чуда. И по сей день люблю этот глухой предрассветный час апреля: с детства втравили меня братья в охоту, и остался я на всю жизнь полуночником.

Почти на ощупь иду мимо дедова дома, который рубил я когда-то с ним вместе, сворачиваю в поле и пускаюсь будто в ночное плавание. Ни огней, ни звуков, только слабое движение воздуха чувствую лицом, это и есть мой главный компас в пути. Я знаю, глаза привыкнут, начнет бледнеть, и утро я встречу уже вдали от человеческого жилья и суеты. Поле, как воля, не давит, не угнетает. И где б ты ни ночевал, в лесу ли, в деревне, рассвет всегда начинается в поле.

5

Мало радости принес мне первый свет. Я не узнал полевых дорог. Минувшей зимой какой-то ретивый заготовитель сосновых шишек срубил под корень все полевые придорожные сосны, а неподильные обкорнал, обезглавил, оставив одни скелеты. И маячат в поле суковатые стволы да высокие зимние пни.

Так по этим «верстовым» столбам я и шел до деревни своего дяди. Четыре старухи да два старика – вот и все население деревни. Отмаяли зиму, теперь на лето ждут детей и внуков. Но есть своя местная радость – нынче открыли в селе церковь.

За минувшие годы заметно усох, сдал и дядя Паша. Но по-прежнему деятелен, держат с женой корову и ульи. В избе у дверей меня встретил шоколадно-дымчатый молодой теленок, уставился большими влажными глазами.

Двое суток я провел у них в доме: чистили к Пасхе трубы, выставляли рамы, подкармливали пчел в ульях... А напоследок я помог увести в хлев и теленка. Мог бы гостить и еще, они оставляли, но будто немой упрек преследовал меня: «Свой дом заброшен, а чужой обихаживаешь...»

Снимаюсь затемно, охотой по утренней заре. Как одинокий стрелок обхожу окрестные леса и деревни: один жилой дом остался в Волкове, один в Самылове и уже ни одного в Василеве, Сивкове...

По зарастающим тропинкам лес крадется к самой околице. Когда я захожу в такую деревню, мной овладевает смиренное чувство, как на старом погосте. Если есть еще хозяин (не только дома, а уже всей деревни), он стеснительно прячется, будто виноват в чем, скорее шмыгнет в дом и... долго провожает меня взглядом из окна в поле. Что он думает при этом? Верно, решает, кто я, откуда и к кому приходил? И мне делается неловко, что я нарушил его размеренную отшельническую жизнь. До середины поля спиной чувствую его тяжелый вопрошающий взгляд.

Так проходит мой день. В неспешных раздумьях на обогретой опушке леса провожаю закатное солнце, пытаюсь угадать ближайшее будущее этих полей и деревень. Устав от дум, бреду на тягу, стою до темноты, и уже глубокой ночью направляюсь полем к своему дому. Именно полем, а не дорогой. Дороги так изуродованы тракторами, такие выверты на них, навалы и ямы, что можно не только завязнуть, а и утонуть запросто. Поэтому подсыхающее поле – истинный рай для пешей ночной ходьбы. В поле нет ни ям, ни коряг, ни камней. Зверь свернет в сторону, а люди в это время уже не ходят. Ноги сами идут, щупают землю. Если и встретится ложбинка или бугорок, то всегда пологие, не опасные.

И чего только не передумаешь, бредя ночным полем. Иногда слышится в вышине посвист торопливых крыльев. Какие-то птицы летят и ночью своим древним испытанным путем. А больше никаких звуков во всем поднебесном пространстве. Такая тьма и запустение вокруг, все объято вековой тишиной, и я словно погружаюсь в глубину веков, куда-то во времена древних славян. Будто язычник, несу из лесу на плече три кола, связанные сырой корой, добытую утку и первобытно радуюсь душевному покою, согласию с землей и небом. Вот вернусь в свой бревенчатый дом, сварю еду, выплюсь, заменю завтра гнилое прясло в изгороди... И буду радоваться этому пряслу все лето, как зодчий своему творению. Хорошо мне еще и потому, что сделаю это не только для себя, а для дома, родительской дворины, для всей деревни...

Воображение прибавляет мне силы, и вот я уже сбрасываю свои колья под сень родных берез. Среди ночи вваливаюсь в дом, включаю везде свет, радио и снова иду на улицу. Как одинокий маяк, светит мой дом на всю округу. Я отхожу подальше и затаенно люблюсь живыми теплыми окнами.

Когда живешь один, то никогда не видишь света в своем доме со стороны, а видишь только в чужих и невольно испытываешь сиротство. Свет в окнах родного дома напоминает детство, родителей, лучшие годы жизни... Теперь мне уже не хватает всего этого. И я не спешу в дом, а хожу по угору, взглядываю на окна, будто жду, не скользнет ли по занавеске знакомая тень.

Говорить в доме мне не с кем, поэтому когда на улице дует ветер, идет дождь или снег, я пишу у топящейся печки свои записки: не то дневник, не то воспоминания. Название придумал: «Раздумья провинциала во все времена года».

Раздумья провинциала во все времена года

Весенние сроки

1. Всякое место на земле – чья-то да родина. Есть большая Родина и есть малая. Большая Родина – для больших людей (они видят и понимают ее всю, целиком). А малая... Нет – не только для людей маленьких, а для всех. Большая Родина бережет малую, хранит ее неизменной, неповредимой. Все мы выросли в малой родине, самой лучшей на земле. Вот и я пишу о малой родине, о многих ее «малостях», плохих и удивительных, видимых и невидимых. Пишу без особых претензий на всеохватность.

2. Самая главная наша ценность – земля, особенно родная земля, она ничего не стоит для нас с детства: можно бросить ее и уехать в чужие места, где больше сверкания, шума, суеты... Новое увлекает, завораживает, зовет. Но через годы нас тянет обратно на свою землю, в родное подворье. И только тут мы замечаем невысокие дома, самую землю – в буграх, перелесках, оврагах – скромную в своей неизменной красоте. И всегда испытываем легкий стыд за свое легкомыслие, непостоянство. Стыдимся даже дороги, по которой возвращаемся домой: дорога нас провожает последней, а встречает первой. Особенно когда нет уже в живых ни отца, ни матери. Дорога – это всегда путь на родину; не тебе, так кому-то другому. Дорога – особая земля, земля, у которой «имеется» память и перед которой бывает больно и радостно.

3. Снеговая вода в лугах среди дубов. Дует теплый ветер, уже сохнут верха грив, и синее, тает повсюду снег. Можно целый день бродить по этим гривам, спугивать первых скворцов, куликов, уток и не знать, что делать. А делать ничего и не надо. Просто гулять, смотреть, слушать. Есть такое занятие – встречать весну. И никто за это тебя не осудит, и сам себя не будешь потом ругать. Только весной позволительна человеку такая роскошь, привилегия. Но редко услышишь от кого-либо: встречаю лето, пошел встречать осень, и уж тем более – зиму.

4. С полночи, как обычно, ухожу в лес. И вот чудо: в маленьком лесном болотце, исхоженном мною вдоль и поперек, поет глухарь. Не верю, никогда их здесь не было, крадусь ближе, ближе – он! Шуршит перьевым нарядом, испускает мощный костяной шорох, будто в глухой непроходимой тайге. А вокруг болотца – засыпанные химикатами поля, развороченные тракторами, залитые водой дороги; брошенные сеялки по обочинам; собаки лают в деревне... А он будто ничего не видит и не слышит: поет, как перед концом света, а может, перед концом собственной жизни. И жутко мне, будто скачу я по болоту тоже на край жизни и хочу заглянуть в пропасть.

5. Под большим небом, среди большой воды разыгралась весна. Вот летят большие стаи гусей над большой страной, над поруганными церквями. А я стою один-одинешенек среди холодного поля, забытый, сырый, никому не нужный: ни родственникам, которых уже почти не осталось, ни совхозу, ни сплавной конторе, ни Союзу писателей, ни нашей Думе... Стою и не понимаю, как же все случилось, почему? И напрашивается один вывод: «Нет, страну направляли на ее исторические пути не самые умные и не самые честные люди, а часто корыстные, жестокие, немодушные. Безбожие имеет большие последствия, которые не смывает и самая широкая весна...»

И все плывут, плывут над землей гуси, будто нанизанные на струну кресты всех порушенных в России церквей. Молись, грешный революционер и вероотступник, хотя бы на эти последние высокие знаки. Время близко.

6. В седых далях замшелых туманных лесов заблудилась где-то по весне моя юность. Хожу, зову – и знаю, что никогда она не вернется. Как же так получилось, что я и юность разошлись и вот теперь гуляем в разных лесах: юность – далеко, вольно, беззаботно, а я здесь – в ближних от дома угодьях? Хожу будто на привязи, как домашняя прирученная скотина. И вдаль тянет, и на дом оглядываюсь, и все ищу причину, чтобы не уходить далеко от деревни...

7. Всю зиму думал: «Вот кончится зима, поеду в деревню, затоплю печку и... все о жизни додумаю». И вот приехал, живу, сижу у печки. Огонь горит, печка греется, тепло идет по всей избе, а как жить – так и не знаю. Жгу напрасно последние дрова.

8. Пришла весна, и даже раздавленный на обочине дороги кустик, который переехало не одно колесо, начинает жить. Он восстает и укрепляется, торопится, пока не просохла дорога. Так каждой весной хочет выправиться, воспрянуть наше крестьянство... А осенью новое колесо цен и налогов переедет деревенскую жизнь, придавит ее, и снег занесет все политические колеи до новой весны.

9. Когда после зимы вытаивают наши бедные поля, деревни, косогоры, овраги, полонные заборы, кусты и рощи, полудикие сады – особенно мила нам эта поруганная родная земля, особенно заметны все ее раны, ее крайнее истощение. Кажется, и не воспрянуть ей никогда.

Но пройдет день Георгия Победоносца, пройдет День Победы нашей – и все так безудержно зазеленеет, зацветет, что только диву дашься: «Да откуда же такая сила и красота взялась снова?!»

10. В апрельское предночье над старым вытявшимся жнивьем низко парит лунь. Стоишь на тяге на опушке с краю болота и думаешь, что летает он так тысячу лет. И становится спокойнее на душе: когда всё в стране и в личной жизни перевернуто, когда всё или только начинается, или началось только вчера, нужны какие-то незыблемые основы. Нужно хоть в чем-то ощутить корни древа жизни. Иначе не устоять. И мне нет никакого дела до того, что луню этому два или три года, а ельничек, к которому я «прилепился» спиной, моложе меня. Весеннему вечеру тысячи лет – вот что важно, загадочно, непостижимо. Он и вечен, и вновь юн и притягателен. Разгадать эту тайну невозможно, но хочется хоть чуть-чуть приоткрыть ее. Рыжий лунь летит, не видя меня, и вдруг, спохватившись, взмывает вверх, опахивая мое лицо воздухом своих беззвучных широких крыл.

Обоим нам тысячи лет...

Оба мы – продолжение жизни.

11. Было время, я беспечно гулял по лесам весной. Гулкое пространство среди вытянувшихся сосен отзывалось на любой шаг и шорох, воздух – как струна: не задень; от самой малой птахи – взлетит или пропоет она – неслось по лесу многозвучное, шквальное эхо. От птичьих пересвистов и воркований уставал слух, голова кружилась от избытка кислорода, и казалось, что жизнь не имеет ни начала, ни конца. Скитался тогда по лесу и думал, что, наверное, вот я и есть самый обездоленный и несчастный человек на свете.

А теперь думаю совсем иначе: был ли кто тогда счастливее меня? И все чаще вспоминаю слова матери: «Из-за счастья счастья не видать».

12. Апрельским вечером хорошо идти мокрыми полями в сторону заката вслед уходящему солнцу. Идти без дороги, напрямик по подсохшему за день жнивью. Долго будет теплиться вечерняя заря, и далеко можно уйти под пение и крики прилетевших птиц. Встретится на пути перелесок, еще набитый снегами, одолеешь его, и опять тебя примет поле, уже другое, новое, но тоже праздничное...

В молодости я мог идти так бесконечно, и не осталось у меня ни одного грустного воспоминания. Как похоже на дорогу самой жизни.

13. Теперь, когда я приезжаю весной к своему деревенскому дому, меня встречает только скворец на березе. Он хлопчет вокруг полуразвалившегося скворечника, но весь трепещет от свиста и радости. И мне стыдно, что я не подготовил ему «квартиру». Открываю замки, достаю молоток, гвозди и, не заходя в избу, подновляю скворечник. Чтобы утром нас было на опустевшей дворине двое. Теперь и это счастье.

14. Теперь уж так: выйдешь на утре из лесу, оглядишься, деревню заметишь среди полей. И если дымит в ней хоть один дом, охватит тебя несказанная радость: значит, кто-то еще жив, толкает жизнь, насколько сил хватает... И идешь к нему как к союзнику по вечной борьбе за счастье наших руководителей.

15. Кажется, все рухнуло в России. Сейчас богаче и свободнее крестьян-колхозников стали даже рыбы и дикие птицы. Они еще живут по своим вековым законам. А людские законы жизни все нарушились или изменились. Сейчас живет только тот, кто никогда и никаких законов не признавал и не исполнял. Но это люди либо примитивные, либо не от мира сего.

С чего же пойдет новая Россия?

16. Непроницаемо-черные зубцы елей в остывающем горниле заката. Само солнце уже село, но жар от него еще исходит за лесом. Жар только видимый, вокруг снег, вода, холодная земля – срединно-русский апрель. Стою на скате ложбинки, по дну которой бормочет взывавший половодьем ручей. С одной стороны ручья растет молодой ельник, а на моей стороне маленькая лесная деревушка – вернее то, что от нее осталось: колоды, кадки, кросна, старые понурые бани. И стоит одна печь, как памятник всей деревне. Пройдет еще полчаса, и над банями и кроснами, над этой печью потянут вальдшнепы. А я, как последний Емеля-дурак из сказки, могу забраться на эту печь и, лежа на спине, палить с нее вверх.

Смешно и грустно. Потому что настоящий Емеля-дурак бросил свою печь и гоняется где-то за товарами и долларами. Вот вернется он к ней, а она уже разрушилась. Вытряхнет из мешка свою заморскую добычу – а там мусор... Но это уже из другой сказки.

17. Застала меня однажды в весенних полях ночь. Надо где-то ночевать. Бреду вдоль речки, вытекающей из лесу, мою сапоги на затопленной луговине. Речка бурлит, пожуркивает в ночи, будто разговаривает со мной, не хочется от нее уходить. Добрел я до стожка у самой воды, стог одним боком стоит еще на снегу, а другой бок, к речке, подтаял. Тут я и остановился, прислонил ружье к стогу, снял рюкзак. Поискал хворосту, посшибал старые пеньки на дрова, разжег сеном костер и увидел, как пенится, бурлит возле стога вода. Тут и решил коротать ночь до утра. Лег на сено, гляжу сквозь костер на воду и будто куда плыву. Так и уснул, забылся на самую глухую полночь. И спал-то всего часа два – но будто целую

ночь: плыл и плыл куда-то, словно по реке в самую пору сенокоса. И все не мог надышаться запахом свежего сена. А когда проснулся, никак не мог понять: осень сейчас, весна или лето? Так спится только в молодости, когда душа еще всецело зависит от тела.

18. Мы вышли из тьмы. И во тьму уходят наши годы и жизни. И что-то тут не так. Должен быть где-то свет, наше общее пристанище и успокоение. Каждый идет к этому свету своим путем, со своей надеждой и верой... Хуже всего, когда человек никуда не идет и ничего не ищет. Однако ждет, что к нему что-то придет.

19. Люблю российские полевые дороги, особенно в Пасху, когда рано утром идут по ним люди в церковь. Из-за пригорков и полулесков тянутся из темных забытых деревень последние обитатели в полуразрушенную церквушку – как к последнему спасению России. И кажется, в этот час по-особому притихают и поля, и небо.

20. Кажется, медленно течет время, медленно растет дерево у дома. Но... как быстро проходит жизнь. И чем она безбеднее – тем незаметнее пролетает. Беды, которых мы так боимся, растягивают жизнь, как бы удлиняют ее. Когда человек устает от бед, он завидует даже дереву, его «бесчувствию». Видимо, каждому – свое.

21. Много сил на земле. Но сила весны, кажется, самая могучая: все меняет до неузнаваемости, все устремляет к жизни. Даже камень, подмытый водой, поворачивается к солнцу другим боком и дает расти на своем прежнем месте траве.

22. По весне и рыба «уходит» в леса. Она пробирается в самые верховые притоки, в пойменные луга, старицы, затопленные болота, к подножиям вековых боров... Видимо, лесная снежная вода и рыбе наиболее пригодна для жизни и размножения.

23. Иногда в разгар весны налетит, закроет горизонт метель – будто занавесой задернет от взора перелески, поля, овраги... И ты затеряешься в ближнем от дома поле – будто спрячешься от людей, зверья, птиц... И весь мир разом сузится до ближайшей елки при дороге. Притулишься возле нее и рад-радешенек: хоть на это короткое время отстранились от тебя все заботы, вся суетность и неразбериха мира. В такую погоду всегда хочется уйти из обжитого, знакомого места куда-то подальше, в другую деревню или лес, чтобы уже там вдруг выглянуло солнце и все вокруг было новое, чистое. Человек, как и птица, тоскует на одном месте, томится, но не успевает за полетом своей души.

24. После таких снегопадов утро кажется осенним, пасмурным. Но текут, журчат всюду ручьи, пенные потоки; по берегам ручьев и разливин видны птичьи наброды: ночью прилетели и ходили по снегу возле воды кулики, утки, трясогузки. Остановишься и долго глядишь на эти забытые за зиму следы с благодарностью к последнему весеннему снегу.

25. Мы уже вступили в новое время, новую жизнь, но законов ее развития еще не признаем. Мы люди медленной исторической поступи, и революции нам противопоказаны...

26. Каждый человек живет в своем времени, то есть человек жив, пока он соответствует времени. Как только он начинает жить «во вред» времени, время его выталкивает со своей «территории». Не мы покоряем время своей жизнью, а время подбирает нас под себя. Так мы вершим историю, всяк своей земли-страны. Но свободы действия у нас никто не отнимает. Жизнь и судьбу можно изменить при желании. Знающему это дается.

27. Сейчас на наших глазах ломается, меняется мир. Меняется ежедневно. И главные мировые дрожжи бродят в России. Все тут сошлось: мировая философия и самая духовная литература, две или три революции враз, крах большевизма и возрождение православия, Чернобыль и новоявление мощей Серафима Саровского, нашествие католиков, демократов, спекулянтов и... нищета культуры. Такие перепады – не только расплата за прошлое, но и некоторый аванс из будущего.

28. Народ, который почувствовал свое падение, крайнее унижение, от верховного правителя и до последнего нищего... такой народ не останется стоять на месте. Вопреки любой разрушительной политике и экономическому разброду он поднимется и восстанет.

29. Ничего у нас более ценного не осталось, чем воздух, леса и реки. Они не стали ни коммунистическими, ни демократическими и ко всем без различия относятся по-прежнему с добром и любовью. Если мы и этого не почувствуем, не оценим, тогда уж, действительно, конец всему, а у человека должны отняться и речь, и разум как лишние и просто вредные для его животной жизни.

И не надо при этом ничего говорить о Боге, ссылаться на Библию, мифы, Нострадамуса или винить большевиков.

30. Мы родились в наказанной Богом стране. Что делать: терпеть здесь или убежать от наказаний на Запад? Об этом многие думают и на что-то решаются. Но от своей доли нельзя отказываться. Всякому как бы указано свое место в этом мире, его и нужно «обрабатывать», улучшать. А уж что выйдет, то выйдет... Каждому человеку дан от рождения и масштаб собственной личности. И эту свою величину надо хорошо чувствовать: не надо опускаться ниже, но и выше забираться не следует.

31. Пока я работал на реке, в лесу, на море, сколько я видел первоклассных специалистов, честных душевных людей. И сколько их спилось, умерло, погибло до срока. Лучшие специалисты, лучшие, без преувеличения, люди России. Все они на кладбищах. Зачем мне исследования демографов, социологов, лживая статистика? По одному только этому уже можно судить об истории советского периода нашей страны, о всех «героических» делах партии.

32. Люди из других стран давно ездят по всему свету, открывают мир, а мы и своей страны до сих пор как следует не открыли. И лежат эти неоткрытые земли в центре России среди лесов, болот, у рек, озер, в заброшенных поселках, деревнях, кордонах... Иногда в таких местах валяются, догнивают, доживают свой век такие ценности, что и вообразить трудно. А сколько уже сгинуло со света вековой давности фотографий, писем, картин, ордеров, старинной посуды, игрушек, мебели, крестьянской и купеческой утвари, одежды, украшений, невиданных Европой инструментов и приспособлений, рецептов, старых икон, книг, рукописей... Все, что хранят наши уездно-районные музеи, – это пресная капля, и не в море, а в океане.

33. Как-то ехали мы лесной дорогой. Машина грузовая, дорога в корнях и выбоинах. Ехали часов пять. Устали даже мы, а не только шофер. И вот наконец встретились нам лесной поселочек и колодец у самой дороги. Покрутили ворот, попили из бадьи – хорошо. Огляделись, понюхали – пахнет в лесу свежим хлебом.

– Что это, пекарня? – спросили мы, указав на домик на взгорке.

– Пекарня.

Пошли мы туда, и нам еще теплую буханку дали. Поели, привалились к колодезному срубу, еще попили. Совсем хорошо. И поехали дальше, как из гостей. Вот если бы хоть это сохранилось на российских дорогах...

34. Какое величественное и трагическое зрелище представляет наша российская проселочная дорога весной. Это не дорога, а полоса смертной битвы за жизнь. Какие ямины, разливы, объезды в полполя! Самые гиблые места набиты срубленными деревьями, жердями, обрывками тросов... Рядом – черное кострище после горелых автопокрышек, пластиковых мешков из-под химических удобрений, бутылки, банки... Бесконечная зима миновала в срединной России, и вот весенняя вода смывает, уносит все эти следы, как тяжелый зимний сон. Пройдет месяц-полтора, дорога просохнет, вздохнет под солнцем, и закружится над ней, как смерч, густая пыль за каждой машиной и трактором. Наступает новая битва, как писали недавно все наши газеты, «битва за урожай!» И так всю жизнь.

35. Если не в России, то над Россией происходит что-то мистическое.

Только мы не прислушиваемся и не видим ничего. Истинная жизнь в России будто поднялась вверх, а из земли ей на смену вышла из болот и грязей неотесанная, каменно-злая, агрессивная... И все грозит, грозит кому-то.

Если бы сейчас в России целы были малые деревни, мы бы безболезненно и с радостью могли принять многих русских беженцев из ближнего зарубежья. И люди были бы в покое, и сельское хозяйство помаленьку бы укреплялось. И ведь опять виноваты руководители-коммунисты. Удивительно, как все они «охватили». Уж лучше бы только пили и спали, ничего не делали... Но ведь им все «боевитость» надо было показывать, даже в разрушении своего дома.

36. Каждой весной даже маленькая птичка через тысячи земных верст летит к нам на север с радостью, надеждой и песней. И каждой весной выезжает в ближнее поле наш тракторист с руганью, матом и неверием в свою и общую жизнь.

37. В истории государства Российского Ленин и Горбачев всегда будут стоять рядом и вызывать удивление.

Один начинал строительство коммунизма.

Второй «завершил» это строительство.

Один в 54 года покинул пост.

Второй в 54 – принял.

Один Казанский университет окончил (юрист).

Второй – Московский университет (юрист).

Один знал иностранные языки.

Второй и родного толком не знал.

Один избежал государственного переворота.

Второй не избежал.

Один был решителен и целеустремлен.

Второй – полная противоположность.

Один ненавидел крестьян.

Второй сам был крестьянин.

Один отнял религию и философию у народа.

Второй негласно вернул.

Один, живя за границей, обрел целое государство.

Второй, живя дома, потерял его...
Не парадоксы ли?

38. В России все движется. Могучий духовный заряд прошлого не развеялся, он как пар или облако стоит над нашей землей, ждет востребования, нашего встречного действия. Что-то мятежно-грозовое таится в воздухе Ясной Поляны, витает над вершинами вековых лип и дубов... Когда молчат философия и искусство, свирепствует политика. Но от политики в воздухе остается черная гарь, которая выпадает осадком уже на второй день.

39. Сколько сменилось и сменится на земле людей, властей и даже целых государств, но каждой весной, когда на припеке возле ельников тает и оседает снег, начинается какое-то удивительное брожение воздуха. Кажется, нет ничего примечательного в скупой лесной лужице с черными листьями осины на дне, но к ней, этой слёзно-чистой лужице, припадает, как к причастию, всякий прилетевший куличок, и малая птица, и утка... И такая радость обурекает всех в это совсем еще голодное и холодное время! Века проходят, народы, но этот праздник еще ни разу не отменялся. Не зря когда-то новый год начинался весной. И пока не нарушится этот извечный порядок, мир еще будет стоять и жить.

40. Когда наступает апрель, хорошо приехать в какой-нибудь лесной поселок возле реки. Там вытаивают кора, опилки, пахнет древесиной, торфом – там ощутимо будущее, и ты знаешь, где оно: в лесах!

41. В прежние времена, когда были живы мои бабушки и дедушки, весны казались шире, оглушительнее, раздольнее... Это потому, что было еще много родных людей, и воспринималась весна как большой семейный праздник. Этот праздник заполнял собой улицу, дома, души. Чем больше семья – тем больше радости приходило в дом.

42. Земля помнит, кто жил на ней и что делал. Если дети забудут дела отцов своих и дедов, то земля напомним. Поэтому человеку нельзя терять родину. Даже мысленная потеря родины вызывает ощущение сиротства и неприкаянности.

43. В грязи и невзгодах проживаем мы жизнь, проходим через этот мир. Создаем и оставляем города и книги – культуру материальную и духовную. Материальная стареет, духовная – не всегда. Если быть более точным, именно духовное и нетленно, и более всего ценно для людей. Но менее всего и хранимо нами ныне. Природа и искусство в первозданном виде и есть самые большие богатства этого мира. Все материальные достижения человечества должны служить сохранению и обереганию этого богатства. В этом и есть смысл цивилизации.

44. Каждой весной просыхают пашни, прогреваются луговые разливы, парят леса на пригревах – жизнь начинается снова и мир, вроде бы, не стареет. Но без зимнего оцепенения такой бурной радости обновления быть не может. Каждой зимой наступает как бы смерть нашей природы, и мы живем в особом застывшем мире, и всячески этот мир пытаемся разрушить: искусственным теплом, светом, музыкой. Дает ли нам это что-то в биологическом смысле? Может, искусственно продлевая лето, мы сокращаем свою жизнь? Ведь простудных и прочих заболеваний в городах намного больше, чем где-нибудь на лесном кордоне.

45. Помню, весной в лухских лесах квохтала глухарка в ельнике, и никого не было тем утром в лесах. Так казалось мне. Был наст, заря в полсвета, утренний птичий гром по всему

лесу, и мне казалось, что лучшего времени земля еще не знала и никто не видел ничего подобного, я вот – первый. Наверное, счастье всегда связано с хорошей долей самолюбия. А в молодости это так естественно, просто. Путь к зрелости, мудрости и есть постепенное истребление самолюбия.

46. Наша русская весна тем и хороша, что идет в несколько этапов: сначала весна снега, потом весна воды, далее – весна земли, потом – весна рек и озер, затем – весна травы... А самая последняя весна – в глухих еловых лесах, оврагах, болотах. Если опоздал поглядеть на весну вовремя, в глухих ельниках застанешь ее еще и в конце мая.

Может, это отразилось как-то и на русском характере, который никак не укладывается в европейские и мировые стандарты. Российские людские жизни не самые продолжительные в мире, но так богаты переменами, перепадами, что своим разнообразием могут вызвать даже зависть.

47. Уже давным-давно середина СССР, то есть Россия была нища, бесправна, забита. Но никто из «кремлевских мечтателей» не хотел видеть этого. Сейчас мир увидел это во всей обнаженности, и все поражены таким глубоким опустошением некогда великой страны.

Но не только в этом дело. Сегодня самое главное, чтобы низость своего падения почувствовали, осознали все мы, весь народ России от президента до самого несчастного алкаша. Об этом постоянно и неустанно надо твердить по радио, телевидению, писать в газетах... Только глубокое осознание своей беды сплотит нас и заставит уважать самих себя и не надеяться на гениальность больших начальников. Только глубокое осознание беды, постигшей Россию, осознание всем народом, выведет из тупика.

48. Удивительны наши весны и весенние чувства: чем больше снегу вокруг, тем радостнее первая вытайка на взгорке и прилепившийся к ней жаворонок. А лесные бурные реки, скользящие по зеленому льду сквозь лесные буреломы и сугробы... Какая сила и уверенность в победе весны!

Как это духоподъемно действует на всю нашу нищую долготерпеливую жизнь. Если б у нас была хоть одна толковая революция, то время ей – непременно весна!

49. Когда наступает весна, над ржавыми болотниками по всей России тянут вальдшнепы. Но редко кто из деревенских жителей знает и видел их. Самое малое, на что они могут обратить внимание – это журавли или гуси. Тут уж да, остановятся, бросят всякую работу и какое-то время смотрят ввысь обязательно молча. Кажется, только тут они и разгибаются полностью, вспоминают о своей душе, а потом с тоской нехотя «возвращаются» на землю. Осенью почти всегда раздумчиво скажут. «Вот и еще одно лето минуло». А весной с радостью: «Ну, перезимовали, знать! До тепла дожили...» И неважно, есть рядом кто или нет. Человек говорит как бы с самим небом. И в это время у него всегда хорошеет лицо.

50. Весной и в голом сыром овраге играет жизнь. Намокшей пластушиной еще лежит снег в низине, но бурлит поток и уже расцвела на пригреве мать-и-мачеха – и холодно и тепло одновременно. Сядешь на краю такого оврага и просидишь полдня беззаботно, как прилетевшая птица.

51. Мир, в котором мы живем – тяжелый, материально-вещественный мир. В нем все давно стоит на месте и все сообразно. Только человеку кажется, будто надо все переделать: леса, реки, пустыни... Упрямое существо человек: там, где надо переделывать себя, он старается переделать других или землю...

52. Вымирает родня, исчезают деревни, рубят опушки и перелески, перепахивают поля, болотины, пустоши... Но вечно будет лететь селезень над речкой Желнихой – наряден, стремителен, нетерпелив. Вымрут алкаши и богатствостяжатели, сменятся власти и рыбин-спекторы, но вечно будет идти по весне на нерест рыба.

И долго еще человек не сможет постичь невозмутимости и красоты Вечности. Как много сил ухолит на временное – будто на вечное, а все оборачивается прахом. И так век за веком, род за родом.

53. В сырых весенних полях в водополье никого нет: ни людей, ни скотины, даже дикий зверь избегает открытого места. В это особое время поля неделю-полторы безраздельно принадлежат птицам, особенно перелетным. Гуси, утки, множество куликов, луни, скворцы, жаворонки – все отдыхают на полях. Ночью под говор текучих вод они осторожно опускаются на середину поля и долго сидят недвижно, слушая ночь. Выставляют сторожей и какое-то время дремлют. Но когда погаснут последние огни в деревнях, стихнут собаки, а время перевалит за полночь, в полях начинается настоящий птичий базар: гвалт, крики, купанье, вспархивания, перелеты с места на место... Потом наступает кормежка, поправляется опечение, обследуются дорожные раны и мозоли, и снова короткий отдых, чтобы на рассвете с зарей вострубить на всю окрестность о своем прибытии на родину, о радости любви и жизни...

Но редкий человек знает это, редко кому довелось слушать такую ночь и видеть ее, хотя бы и мысленно.

Особенно мне жаль людей деревенских, тех, кто всю жизнь ходит по этим полям, а весенними ночами смотрит бесконечный сериал о выдуманной заморской жизни – с казенной игрой актеров, с «деревянными» дублированием и с какими-то детскими бедами и слезами у взрослых. Ведь беды эти действительно детские по сравнению с нашими, с нынешним лихолетьем. На этих слезах и бедах отдыхает наш народ в забытых селеньях.

А над полями, над крышами и антеннами деревень волна за волной, вал за валом спешат в это время все новые и новые птичьи стаи из тех далеких телесказочных стран.

И как-то обидно, что птицы не знают нашей жизни, а мы до сих пор не знаем их потаенных радостей и печалей, А ведь живем на одной земле уже много тысячелетий. Уже мечтаем об открытии новых дальних миров, а ближние оставляем неоткрытыми.

54. Весной даже мертвые душой люди, и те просыпаются. Всеобщее ликование вод, травы, неба как-то доходят до них; добрых дел они, конечно, не совершают, но поменьше злобствуют, воруют и матерятся. Даже и в их мохнатых душах что-то по-своему расцветает.

55. Почему человек не считает богатством весну или осень?

Рано ему еще это. Деньги, вещи, еда, питье – вот наше богатство. Только то, что в себя и на себя. Богатство для тела. И не плохо это, если тело здорово и нуждается в этом. А солнце, воздух, вода, пение птиц разве не для тела? Тоже для него, но не только. Еще и для души. И бесплатно! Вот бесплатное-то мы и не ценим – отвыкли. А ведь и любовь настоящая тоже бесплатна, бескорыстна... А то еще, говорят, есть богатства Духа. Ну, это уж и вовсе лишь единицам понятно и доступно. И какая уж тут плата.

56. Земля, наверное, тоже устала от жизни людей. Не будь мороза, зноя, ливней, кто бы чистил и мыл землю? Человек плохо ее подметает; дезинфицирует больше ядохимикатами – сам же ими и травится. Раньше ключи, ручьи, реки промывали землю круглый год, теперь они все захламлины, завалены, запружены – все больны. Только недоступные глухие болота

в лесах живут еще естественной жизнью. Там и спасаются от людей, лечатся последние птицы и звери. Скоро придет туда на лечение и сам человек, если хватит сил дойти.

57. Весной в распутицу идти от деревни до деревни – одно удовольствие: то скворцов встретишь, то жаворонок взовьется ввысь с вытаявшего жнивья, то чибис прожамкает крыльями над холодной луговиной; бывает, и уток сгонишь с придорожной разливины... Идешь и считаешь про себя: грач прилетел, чибис, кряковые появились... А почему нет чирка-трескунка, кроншнепа, нет другого кулика, третьего... И так многих птиц, знакомых с детства, недостает тебе. Что ж это такое? Раньше поля, разливы гудели и стонали от птичьего гомона по весне. Пока идешь до школы, чего только не насмотришься, не наслушаешься, и потом, на уроке, никак не можешь сосредоточиться.

Нет, за эти полвека изменились не только мы, люди, изменился и сам мир. Просторнее стало в птичьем царстве, реже, а в человеческом – теснее. И радости от этого нет никому, и постоянно стоит неотвратимый вопрос – что же дальше?

58. Весной даже голая холодная гора зеленеет. Все, что было промороженным насквозь, почти мертвым, не только оживает, но и дает рост, плоды, потомство. По одному только этому можно предположить, какой воскрешающей животворной силой обладает солнце. Мы еще мало изучили, поняли и почти совсем не используем эту универсальную силу и благодать. А все потому, что она дана нам бесплатно, безвозмездно и навсегда. Бесплатное, оно меньше всего и ценится.

59. История России помнит многих казнокрадов. Но все меркнет перед нынешним грабежом. Сейчас золото воруют тоннами на уровне самых высоких государственных чинов, воруют со знанием экономической науки, юридических законов, футурологии... Это все результаты политики Горбачева. На фоне такого невиданного дневного грабежа гуманитарная помощь Запада – это как возвращенная веревочка, та самая веревочка, которой были перевязаны наши подаренно-украденные тонны золота. Только ленивый нынче не грабит Россию. Растащат все. Оставят лишь то, что нельзя украсть: разбитые дороги, гиблые болота, облака да ветер над заброшенными полями.

60. Я был рабочим. Пролетариат – самый безалаберный и беспринципный класс, не имеющий своих корней – ни морально-нравственных, ни духовных. Это класс бессознательный, чисто материальной сиюминутной выгоды и культуры. Он первым поддержал большевиков в революцию 1917 года, первым пошел в отряды сыщиков, стукачей, карателей... Он первым и предал партию коммунистов: самый массовый, обвальный выход из КПСС во времена горбачевской перестройки был именно со стороны рабочего класса. Этот класс всегда ищет хозяина и покровителя. Сам он не хозяин, ничего не имеет, и ему «нечего терять кроме своих цепей», как сказал когда-то Маркс. Человек, которому нечего терять, всегда вызывал и вызывает подозрение и страх.

61. Когда в селе или городе на глазах у народа разрушается, гибнет церковь, школа или библиотека, где крестилось и училось не одно поколение – это и есть публичное разрушение культурного фундамента нации. После такого и народ этот, и сама местность обречены на постепенное вырождение, одичание. И происходит это медленно, безболезненно с привыканием, но неотвратимо.

62. Так уж получилось: убери из России непогоды да гиблые дороги, и что-то потеряет она в своей поэзии, философии, национальном характере. Пропадет русская душевная тоска. А без этого Россия уже не та.

Странствия по российским дорогам немало дали нашей литературе. Давайте вспомним Радищева, Гоголя, Аксакова, Пушкина, Чехова, Бунина, Паустовского... Ряд неполный, но памятный. Тяжки наши пути и в прямом, и в переносном смысле.

Мне часто приходила в голову мысль, что Россию спасут, возродят те глухие углы, что за болотами, бездорожьем, за многими верстами от губительных властей и реформ.

Нечто подобное совершается и в нашей национальной культуре.

63. «Правильное» поколение у нас появится еще не скоро. Сужу об этом вот по какому случаю. Выступал я как-то перед учителями-словесниками городских школ Нижнего, рассказывал о русской советской литературе, о том, что толкование ее в учебниках большей частью ложное, старое, сдобренное пафосом соцстроительства. Даже в «Поднятой целине» Шолохова правды только наполовину... Не поверили мне опытные учителя, были разочарованы, обижены... И пригласили другого писателя, старого, традиционного, который рассказывал им все так, как записано у них в школьных программах и методиках.

Я недоумевал: почему же так? Ведь и люди еще не старые – редко кому за пятьдесят. Понял потом: в пединститутах они учились при Хрущеве, Брежневе, Суслове; их научили так, они привыкли, «обкатали» свой классный материал, и меняться им не хочется – страшно, опасно... Уж лучше по-старому, как-нибудь, до пенсии...

Кого же они выучат?

Значит, надо ждать новых, молодых учителей, которые сегодня только на первых курсах институтов.

Значит, и первое нормальное поколение молодых у нас явится только лет через шесть-восемь. Не раньше.

64. Благоденствия в России не будет еще долго, пока мы не почувствуем, что земля, на которой живем – наша. А она никогда не принадлежала народу: поля – колхозные, леса – лесхозные, реки – министерства речного флота, дороги – тоже разных министерств и ведомств. Даже земля и тот дом в деревне, где ты родился и живешь, и то принадлежат не тебе, а сельсовету. И к любой власти не подступишься. Только к небу да Богу и мог обратиться человек на «ты», минуя начальство и всякие справки. Этому он верит и сейчас больше всего, с этого, видимо, и пойдет новая Россия.

65. Однажды в апреле, лет двадцать назад, бродил я с ружьем в заброшенных лесных местах Костромской области. Заблудился, но вышел наконец из чащи на поляну, к покинутой лесной деревушке. Всех-то домов было с пяток, но и от них остались только печи, полуупавшие изгороди, гнилая покосившаяся банька. Все было увезено или взломано, разграблено, а кросна, кадки, санные полозья, колоды – валялись.

И стояла в разгороженном огороде среди оплывших грядок старая яблоня, а на ней – скворечник, еще крепкий, не покосившийся, с полкой-беседочкой у летка. И на этой беседочке ярился, трепетал иссиня-черный с укропно-веснушчатым боком скворец. За всю зиму (оглядел я поляну) не было тут ни одного человека, только зайцы жировали... А скворец по весне прилетел и стал первым гостем. И хозяином заодно.

Я сидел на треснувшей колоде и слушал его. Уже солнце было высоко, и наст слабел в лесу, обещая мне тяжкую дорогу домой, а я все не мог встать. Мне казалось, что скворец поет так заливисто именно для меня, будто для вернувшегося жителя деревни. А уйди я – он смолкнет, загрустит, оглядится и полетит дальше на север, – так думалось мне. И почему-

то захотелось, чтобы хоть скворчиная семья пожила тут в это лето, чтобы на пустующих грядках искала червяков, радовалась росту трав, солнцу, грозе... «А зачем мне то это?» – философствовал я на колоде.

Но я хитрил. Хитрил сам перед собой: я знал, что приду сюда еще раз, если не летом, так ближе к осени, и чтобы меня ждал кто-то здесь, ждала живая душа, хотя бы и птичья.

66. Наша земля еще и вот почему не родит, а если и родит, то – до стола не доходит: раньше крестьянин первую борозду и первый зажин начинал с молитвой. А нынче... столько матюгов и проклятий «рассеяно» по полям, дорогам, токам. Сколько сеяно и жато в пьяном виде, со злом. И если земля и злаки – живые существа, то не могут они всего этого не чувствовать.

Без любви ни один сеятель ничего путного не взрастит. Помните: «Едет пахарь с сохой, едет, песню поёт...» Ведь не матерную же он песню пел.

67. Кто ругает наше время, кто приветствует... Можно понять и тех, и других. Но самый отвратительный пласт общества составляют те, что молчат. Они смотрят, слушают, все видят и слышат, но молчат, как глухонемые. Выжидают. Прикидывают, смекают.

Живя дома, здесь, они уже как бы потеряли свою родину. А была ли она у них? Они и до сих пор не верят, что весь Союз был в проволоке ГУЛАГов, зато до сих пор верят в великого «гуманиста-гения», дедушку Ленина-Ильича. Это они целыми косяками в десятки тысяч сидели (и даже лежали) в членах КПСС и молча выжидали-ждали, пока сама партия не ушла у них из-под брюха, как вода из-под дохлой рыбы. Потом так же «усох» и Союз. Но даже и это на них не подействовало. Упрямо, настойчиво, как глухонемые, они только смотрят и ждут, ждут...

68. Бывает, живешь с людьми в одно время, в одной деревне, но будто в разных плоскостях пространства: и ты им во многом непонятен, и они тебе. А вроде ровесники, вместе играли в детстве, в школу начинали вместе ходить... А дальше все оказалось настолько разное, непохожее, что сегодня мы – как существа с разных планет.

69. Сегодня верить в космические и божественные силы нас заставляет еще и нужда: Земля в одиночку уже не справляется с нашим безумием, мы «победили» наконец ее, и от этого самым стало страшно. Мы ищем союзника не столько себе, а и «врагу» своему – земле, природе. Много в этой помощи пока не ясно, потому и жива еще в нас надежда: «А вдруг все выровняется, образуется; может, простят нас и на этот раз...» Так нашкодившие дети плачут, но добровольно идут под наказание матери.

70. Места, любимые человеком, излучают добро и свет. Ответно и сам человек как бы светится. Союз этот следует оберегать. Как одному человеку, так и всему обществу.

71. Весной в любой луже на дороге сверкает радость и торжество жизни. Совсем другое – летом, и совершенно противоположное – осенью. А зимняя дорога, та уж и вовсе ничего «не помнит» о летней, и кроме тоски одиночества ничего на ней не найдешь. Примерно так же видится мне и стезя человеческой жизни.

72. Чем далее, тем все хитрее и невыносимее жизнь. И никакие гуманные помыслы различных «освободителей» человечества (философов, политиков, писателей), никакие открытия ученых, сверхмощное оружие – ничто не облегчило, в конечном счете, человеческую участь. Если бы мне сегодняшнему вернуться в 50-е годы – столько там лежало «невостре-

бованных» радостей: еще можно было пить из некоторых рек, полно было рыбы и дичи, столько еще жило старых живописных деревень по России; редчайшие книги у букинистов стоили копейки, почти на любом рынке можно было купить мед, шубу, валенки (все натуральное), в Союз писателей принимали за десяток стихотворений, отпечатанных на машинке, или за один рассказ, опубликованный в солидном журнале... Но ведь и тогда люди жаловались на трудности. Рак только еще начинался, а СПИД еще никому не угрожал... Ах, мне бы те трудности сегодня! Но почему не жили спокойно и в те времена? Мир тогда напоминал коммунальную квартиру, и каждый отвоевывал свое счастье, угрожая другим.

Нечто подобное происходит и сейчас, только в более сложном виде. Вывод: надо пользоваться только глобальными теориями в устройстве своей жизни, страны, мира. Счастья для одного человека в полном объеме не существует. Паразитический гуманизм – главный бич человечества...

И всё опять возвращается к библейским заповедям. Иного пути для человечества нет.

73. Идет куда-то жизнь: леса и травы пытаются расти, наладить давно нарушенный круговорот. А человек становится все хищнее, злобнее, мстительнее. Он все более изощряется в воровстве, разбое, эгоизме и стяжательстве. Он ворует у государства, у соседа, забирается в тайные кладовые природы, разоряет запретное, веками хранимое всеми предками при любых властях и режимах. Это мучается в агонии последний революционер, взыскуя обещанное дармовое счастье. Он не успокоится и не образумится, как нечистая сила, пока неистовая злоба не изгрызет его вконец изнутри. И тут не стоит удивляться: он так воспитан, а потом обманут и брошен своими «светлыми» учителями. Иными словами, мы все еще пожинаем посев 1917 года.

74. Когда в майских зеленых лугах токует припоздалый тетерев – весна уже заходит в лето. Это токование в теплых лугах особенно отрадно больным и старым людям. В такое время нет уже по лесам охотников, тетерки плотно сидят в своих гнездах на яйцах, и никто не стреляет в лесу. Бывало, подходишь к лесной деревушке на рассвете – все спит, один старик сидит на завалинке, снял шапку, слушает, как токует этот тетерев в низинке за деревней. Давно старик отходил по лесам и рыбным местам, но вот подкатила новая весна, и коротает он теперь зорьку под наличниками родного дома. Сидит, будто в молодости в шалаше.

– Чу! Слышишь? – говорит он вместо приветствия, а сам весь светится, воспрял, шапку в руках мнет от нетерпения.

Смотришь на него с радостью и сожалением: как всеильна жизнь, как беспомощна старость. Только охотники да рыбаки не спят вёснами на заре – счастливое и сумасбродное до самой смерти племя.

75. Вчера и сегодня мы жили и живем в долг. В долг у своих детей, внуков, правнуков: мы нарушили образование, высшую школу. Пока еще кое-как живы, а завтра войдем в мертвую зону: у нас не будет интеллигенции. Прервется цепь, и разрыв этот будет страшен: общество без интеллигенции, что судно без компаса.

76. Как весеннее половодье очищает русло и берега реки, так и «посткоммунистические» события очищают Россию. Хотим мы того или не хотим, но многое унесет река времени. Унесет все отжившее, устаревшее, одряхлевшее, ненужно-кичливое... Конечно, на поверхности новых течений много щепы, дряни, пены... Но вот спадет политическое половодье, войдет река жизни в свои берега, и вырастет на очищенных берегах молодая зеленая трава. И все придет в норму. И не надо роковых ахов и охов: все найдет подобающее ему

место: золото не ржавеет, рукописи не горят, а народ бессмертен. Пока светит и греет солнце. Светило бы.

77. Жизнь в лесу хороша, особенно весной. Но в полдень такая накатывает тоска, что не знаешь, как дожить до вечера. Весенний солнечный день, когда надо бы только радоваться, тянется бесконечно, утомительно-однообразно, и время, кажется, замедляет свой ход. Не каждому под силу выдержать это однообразие времени, эту глухоту одиночества, когда лес и вся округа кажутся пустыми, вымершими, вековыми.

Зато всегда не хватает зари вечерней, ночи и зари утренней. От длительной охоты весной можно даже заболеть каким-то психическим расстройством, которое проходит только с появлением первой зелени в лесах. Но эта весна уже не наша, не охотничья. Охотник с первой зеленью покидает леса. Настает время рыбаков и земледельцев.

78. Жил друг, рос лес, и каждый год мы ждали весну. Прилетали журавли, лес оглашался ликующим криком, и всем было радостно.

Но умер друг – и лес больше, вроде, не растет, замер. А журавли прилетают по-прежнему и по-прежнему кричат. Но теперь в их крике я слышу не радость, а боль и отчаяние. И не знаю, когда это все кончится.

79. Есть поле, есть река, есть лес... Человек рождается, живет, привыкает ко всему этому и считает все своей родиной. Но вот кому-то приходит в голову идея запрудить реку, вырубить лес, изменить луг и поле. Он думает, что несет пользу людям и прежде всего хозяйственную. Возможно. А как же с родиной? Разве ее облик ничего не стоит? Смысл таких ценностей, как образ родины, придется еще долго доказывать. Потому что наши хозяйственники, администраторы, да и политики многие – пока еще сущие неандертальцы в этих вопросах. И с ними повоюют еще наши внуки.

80. Маленькая весенняя речушка Желниха начинается в болоте, крадется по неудобьям, овражкам, через пустоши и поля, дорогу перерезает-переливает в апреле... и так добирается до коренной реки. Ей, Желнихе, столько же лет, сколько и земле. И по сей день захламляют ее всем, чем только возможно: мешками из-под удобрений с полей, обрывками тросов; бороны, детали от тракторов, плужные лемеха ржавеют; на дне ее – камни с социалистической нивы... Надоела она всем, но избавиться от нее не так просто. Чтобы не размывала дорогу, упрятали ее в трубу и дали ход под дорогой, а не сверху ее. До этого заваливали, изживали – бесполезно. И никому от начала века не пришло в голову обратное: взять бы да и углубить, как озеро. Вдруг бы что и получилось? Нет, в новом месте, в лесу вырубili деревья, выкопали котлован, и тут по весне новоявленный фермер развел гусей. И все замерли, ожидая изобилия. Но пока хорошо только лисам: на дне этой «сухой» речки Желнихи они и потрошат дармовую гусятину.

81. В луговой ложбинке возле леса все лето пасутся овцы. Трава зеленая, свежая до глубокой осени. Но не ведомо ни одной овце, что каждой весной в этой ложбине играет, пенится настоящая река-снежница. Даже льдины плывут по ней. И вместе со льдинами, мусором – семена многих трав. Потому и луговина хорошая.

Бывает страна, век, где так много выросло произведений искусства, литературы, что все человечество десятилетиями «пасется» на этих культурных угодьях и все дивится: откуда столько взялось? Но если мы заглянем в историю этой страны чуть пораньше культурных свершений, то обязательно найдем там в общественной жизни глухую снежную зиму, а

потом – бурную радостную весну... Ведь для искусства тоже нужны и подготовленная почва и семена. Обязательно.

Я думаю, что и у нас, в России, после коммунистической зимы наступает весна. Придет время – и буйно зазеленеют всходы. А пока – ледоход. И на поверхности – больше мусор да пена.

82. Просыхают дороги, обветрели, побелели верха в полях – можно бы идти в лесную деревню к своему другу, как ходил всегда. Но нынче его нет, – ни его, ни жены – умерли оба. Дом стоит один, и он страшен, как гроб. Только жаворонки журчат над крышей. Удивительно тихо.

83. Разной тяжести бывают зимы.

Но всякой весной распахнутся опушки, выпростаются из-под снега елочки, и поплывет над дремучим отволглым лесом вальдшнеп. И жизнь начинается сначала! Все забудет и простит душа, омытая могучим земным дыханием апрельского леса. Во все времена не много было чудиков, уходивших в сырой лес на ночь глядя. Но если переведутся эти чудики – искусство наше потеряет первородность. Ни одна картина, ни одно поэтическое описание не могут передать всю тонкость и загадочность этих считанных минут ночи.

84. Народ – могучее образование. Народ и Бог – это последнее, на что мы надеемся, когда изверилось уже все: власти, правительства, президенты и даже... история. Народ проявляется редко, даже не в каждой войне и революции, а только в самых крайних случаях, на роковых изломах истории. Он будто просыпается от вековой спячки, начинает ворочаться, ворчать, как гром, и подымается, подымается...

Но пока не подступил этот роковой час, на поверхности жизни мельтешит, торопится, исхитряется, обманывает, выгадывает, хвастается, слезит, жалуется, грозит, опохмеляется, лжеуродетвует... не народ, а народишко. Однако бьет себя в грудь и заявляет: «Я – народ!» Видимо, каким-то образом знает или чувствует, что он может быть и народом. Народ бессмертен, он живет не только сей день, а вечно, его корни идут на всю глубину истории, и это ощущение живо и спасительно в каждом новом поколении. Этого пока не отобрали.

85. В стране идут революции, реформы, вечная суeta и наказание. А в остатке старого бора, на гривке, среди шишек, игольника, мха разгуливает на заре иссиня-черный петух-тетерев; урчит, шипит на всю ближнюю округу. Под ранним весенним солнцем он весь блестит, переливается тугим оперением. Вокруг этого последнего клочка леса зачумленные химикатами, залитые полкой водой, продувистые поля. А тут, в затишке среди сосен, тепло, сухо, солнечно. Тетерев ярится все больше, вызывает соперников... Но их нет, один он, как царь, на весь сыр-бор. Рядом за пеньком прогуливается серенькая тетерочка, приседает, кокает по-женски нежно и слабо. И тоже одна. Ни соперников, ни соперниц, только двое их и осталось. Они чувствуют, знают это оба, но ведут себя, как на настоящем большом току: он токует, она слушает на почтительном расстоянии, изредка дает о себе знать нежным голоском, и он взворковывает еще азартнее. Я лежу под соснами в низинке, гляжу на них и думаю: «Сколько им еще суждено прожить – год, месяц, неделю?... Но они до конца не нарушат извечный порядок своей жизни: до конца весны будут «держаться» ток, потом она сядет на яйца, выведет и воспитает птенцов. А он отсидится в кустарниковых крепях, вылиняет как следует, потом явится к ним, возглавит семейство и будет держать эту стайку до самой осени, до полевых вылетов – роковых, смертельных ядами удобрений... К зиме он останется один или она «овдовеет».

А весной все сначала: один запоем где-нибудь на боровинке, а одна или две услышат, прилетят – и опять ток по всем «правилам», «традициям», как было всегда...

И кажется, только человек не терпит ничего старого, традиционного, все ему надо переделать – реки, поля, леса; он все спешит кого-то обогнать. Но разве можно обогнать жизнь самой земли? Да и зачем? Рано или поздно, а потянет тебя на весеннюю боровинку. Придешь, а там пусто, беззвучно. Только ветер шевелит сухие былинки, будто на кладбище.

Обогнал...

86. Вот так и пойдет жизнь по городам и деревням: исхитряясь, торопясь, проклиная вчерашнее и тоскуя по довчерашнему, выкликая лучшее будущее. И всегда будут молодцы на сей год, сей день, сей час – дальнзоркие в речах и близкие к себе умом: говорит глобально-патриотическую речь в Думе, а мысленно видит, как уже везут ему кирпич для строительства дачи в Подмосковье... В конце концов все зависит от культуры, воспитания и образования. Что в душе, то и на уме, а что на уме, то и в деле. А речи – они для запутывания людей, для маскировки самого себя, для оправдания и отвода наветов. Язык стал орудием убеждения лживой жизни в «праведности» своей.

87. Весна. В пустых голых полях качается сухой чернобыльник. Но и он хорош, если оттаивает земля, гуляет полевой влажный воздух, греет яркое солнце. Именно на этот чернобыльник летит спускающийся с небес, будто латунный колокольчик на веревочке, трепетный жаворонок. Звенит, звенит – ниже, ниже, и вдруг будто оборвалась веревочка – канул колокольчик под сухую чернобылину и затих.

88. Весной даже вытаивающее прясло изгороди возле деревенского дома и то несет радость любому прохожему. Но когда вытаивает обворованный, разграбленный дом с выбитыми стеклами, с распахнутыми на дорогу дверями и окнами, любой прохожий пристыженно опускает голову. Оскорбленное человеческое жилище, думается мне, так же мстит за себя, как оскорбленный храм, церковь. Но не столько мстит, сколько направляет человека к истине. Почти каждый крестьянский дом – он ведь тоже как церковь, только малая. Расплату за поругание церковей и храмов мы уже ощутили, а за поругание домов, усадеб, деревень – это еще впереди, это еще будет. Не нам, так внукам.

89. В разгар весны над пустыми деревнями летят и летят к северу гуси. Их усталые строгие линейки опускаются под вечер на холодные поля вблизи этих деревень. Бывает, отдыхаешь где-нибудь на опушке леса, садится солнце, стихает ветер, слушаешь разговор этих гусей, и вдруг почудится: не гуси, а идет-галдит полевой дорогой ватага мужиков, возвращается в свою деревню с дальних зимних заработков. Сердце встрепенется в радости... и осякнет. Вздохнешь, оглядишься, а солнце уже село, гуси, прижатые к земле грузом усталости, стихли, и все вокруг молитвенно готовится к ночи. Встряхнешь на спине ветхий рюкзачишко и бесшумно, крадучись, идешь вытаявшей лесной опушкой к дому. Опять один на всю округу, опять наедине лишь со своими думами. Идешь и роняешь их на холодную землю ночных полей, как припозднившийся обреченный сеятель.

90. Есть в технике такая величина: коэффициент прочности. Хорошая величина, все ее любят, от конструкторов до эксплуатационников. Россия нынче жива только тем, что у нее, видимо, велик этот самый коэффициент. Возможно, сам Бог определил его, промыслив великие нагрузки на Россию. Но в чем этот коэффициент и какова его истинная величина – этого никто не знает. И не должен знать.

91. Всю жизнь в России не хватало хлеба и дров. О большем вроде бы и не мечтали. И вот среди этой всеобщей нехватки сыскали нам новую заботу – Революцию. Ее-то как раз нам и недоставало! А ведь с нее и все войны пошли: Первая мировая, Гражданская, Вторая мировая, Афганская и снова Гражданская. Ошибка не века, а веков и народов.

Только почему эту неуклюжую идею обмолачивать надо было именно на русском хребте?

92. Нынче я все больше боюсь уже не политических событий и не экономической пропасти, не войны и не атомной угрозы (пусть и мирной), а просто природы-погоды. Ее непредсказуемость страшнее всего: природа доказывает истину последней, чтобы у людей не оставалось ни врагов, ни зла, ни мести, ни обид... Ни к кому. Боюсь, что мы уже приблизились к этой черте.

93. Теперь уж того, что было вчера, никогда не будет. Время изменилось, и жизнь в России пошла по-другому. А если еще и мы все изменимся (в худшую сторону), тогда пиши пропало! Но не должно... Быстро меняются только подлецы.

94. Судьба любого человека связана с судьбой страны, родительского дома, отца и матери, родственников, детей. А человек все успехи приписывает только себе, единолично. И его начинает одолевает гордыня, она затмевает разум, уводит человека от истины и постепенно губит.

Но бывает гордыня и «широкая»: мы все выросли внутри гордыни советской, партийной, союзной, военной. Это не совсем патриотизм. Сегодня на смену этой гордыне пришло унижение перед всем миром.

95. Раньше цари ездили в золоченых каретах, и сбруя на конях была украшена тоже золотом. А нынче «царю» дают одну золотую звезду, и то к юбилею. То ли цари стали хуже, то ли человечество – скупее.

96. Время – самое загадочное явление для человека. Оно – как медленный ветер: не видно, но всегда течет. Или мы стоим, а время течет, или наоборот?

97. XX век – век торжества материи, материализма. Человеку попущено испытать силу ума, дабы понял он, что бездушный ум не все может.

98. Земные дела не упорядочить и не переделать никогда: что-то не дает, мешает, отводит... Земные дела – не столько радость, сколько наказание. И обойти это наказание нет ни путей, ни возможностей. Человек не может даже летать, как птица, и плавать, как рыба. Где же и как он успеет все? Он прикован своей тяжестью к земному шару, как подневольный раб к галере, которая плывет куда-то без его ведома по тайному замыслу кормчего.

99. Всякая жизнь незримо (для нас) рисует особый образ, единственный на Земле и, должно быть, нужный для какой-то общей картины. Поэтому каждый человек идет по своим ступеням жизни, и торопить или сдерживать его никому не следует. Тем более недопустимо убивать до срока: нарушается, корежится общая картина мира. И это чувствуют все, но не все понимают.

100. Апрельская ночь. Сижу на краю болота у костра. Тепло, тихо. Отдыхает земля. Затих наконец лес, потемнел, исполином стоит за моей спиной, не слышно даже, как он дышит. Жутковато.

Смотрю на часы: скоро ударит полночь и начнут медленно раздвигаться небеса, впуская мало-помалу свет на землю. Часа два это будет длиться незаметно, а потом осмелеет восток и пойдет шириться во все небо. Движение света и есть начало всего – начало радости, жизни, ликования всего живого. Но почему мы так боимся ночи и с такой радостью встречаем каждый день? Что бы все это значило? Ведь тьмы и света на земле поровну.

101. В апреле в туман, в морось тяжело просыпаются наши сырые хвойные леса. Каплет с еловых лап, с шорохом оседает снег в чащобах, медленно сочится рассвет сквозь сырую хвою. Но вот гаркнет вдали на болоте журавль, откликнется другой – и пошло гулять по всему лесу чистое медно-трубное эхо, и будто рукой снимет всю зимнюю спячку с лесов, и враз воспрянет округа. Вот такой клич и человеческой душе обязательно нужен хотя бы раз в году.

102. Каждой весной приходил в мою избушку над рекой старый друг. Приходил он из лесу, из своей деревни, мы вместе радовались весне, топили печку, пили чай, глядели из окна на речной разлив. А потом, под вечер, я его провожал до лесу. Однажды он, как всегда, ушел по лесной дороге. Наступило лето, а осенью он умер. Я знаю его могилу на кладбище, но она мало меня волнует. Я все вижу тот сумеречный лес, и как он уходил прямой лесной дорогой вдаль. Один, один, все глубже, глубже в лес... Уходил, сутулясь, пошатываясь, а вдогонку ему тянул вальдшнеп, истаивая в вершинах. И душа моя сжалась тогда, будто знала все наперед. Ни окликнуть, ни остановить почему-то было нельзя. Так он и ушел, а я продолжал стоять на сумеречной весенней дороге. И до сих пор кажется: он просто ушел в лес и унес с собой все, чем дорожил в этом мире.

Над дорогой этой нынче опять тянут вальдшнепы, как тянули и до нас.

103. Стареют люди, стареют деревни, колодцы, поля. Даже леса и озера стареют. Но никогда не стареет весна. Даже в старом лесу весна всегда молодая. Вот на высокой сухой вершине устало воркует дикий голубь вяхирь. Последние дни апреля, и голубь устал от весны, от воркования, от шума текучих вод... Нет, это я устал от всего этого, а он поет, будто в первый раз, вдохновенно, гулко и так натужно, словно распирает его избыток сил. Стою на просеке и думаю: «Как же могуч вечный двигатель жизни, который каждой весной запускает кто-то с великим вселенским гулом».

104. Человек строит дома, заводы, целые города. Изукрашивает их огнями, картинами, садами, музыкой...

Но лучше всех устроено «жилище» вальдшнепа: вот он на полотнище алой вечерней зари тянет над стихающим лесом, над болотинкой и поляной – как царь этой весны и ночи, сам, при своем скромном наряде, красив до безумия. Стою на опушке леса и думаю: «Земля уже создана и приготовлена для жизни, все на ней есть, что нужно птице, зверю и человеку: и полезность, и красота, и нестарение. Лес и луга не надо красить и подновлять, все делается само собой по великому плану, без спешки и авралов, но к сроку. Для человека на Земле больше создано, чем он может создать».

И вот износили, истрепали мы свою планету вдрызг. Теперь нужен только капитальный ремонт, а это под силу лишь Богу. Попросить бы, поклоняться, да кто будет... Всю жизнь мы кланялись не тому богу, не перед тем царем гнули спину, не на того надеялись.

105. Полдень. Иду из леса по бездорожью. Устал, вытаскивая высокие сапоги из грязи. И вот сзади глухой топот, чавканье грязи... Оглядываюсь – мужик на лошади, летит наметом, вспененный битюг поводит боками, храпит, брызжет с удил пеной. Мужик молодой, здоровый, небритый и без шапки, сидит царем в седле: взгляд надменный, в руке хлыст, к седлу приторочен промокший мешок с чем-то сырым, тяжелым.

– Рыбы надо? – кричит он мне из седла громко, будто я провинился. Рыбы мне надо, но как-то не ожидал я ее среди поля и среди дня.

– К кому идешь? – не дожидаясь ответа, опять кричит он и прет на меня лошадиной мордой.

– Вон в крайний дом, – указал я на деревню. – Там сторгуемся... А какая рыба?

– Всякая – лещи, щуки... Мешок брошу на лужайку у дома – заберешь. А деньги оставь хозяину. Я вечером вернусь! – Огрел неотдышавшуюся лошадь плетью и, разбрызгивая грязь, полетел к деревне.

Когда я устало подошел к дому, мешок действительно валялся на траве, видимо, брошенный прямо из седла. Хозяин дома, мой дядя, стоял на крыльце в валенках и курил, поджидая меня.

– Кто это? – указал я на мешок, разумея всадника, которого уже след простыл.

– Да пастух, Ленька с Василева. Мотается по деревням.

И я вспомнил: их семейство и раньше было пастушеским, бедным: зимой собирали милостыню, приходили и в нашу рыбацкую деревню, просили хотя бы рыбки. Воды у них не было, и рыбачить они не умели. Вся деревня была нищенской, хирела год от году, а потом и вовсе опустела, разрушилась, заросла крапивой, кустарником и даже лесом. Теперь этой деревни и в списках уже не значится. А Ленька, последний из тех пастухов, живет на центральной усадьбе, в селе, в казенной квартире. Весной, до выгона стада, браконьерит, развозит рыбу по деревням и продает на вино. В детстве мы ходили с ним в одну школу, правда, в разные классы, из-за бедности он кончил всего-то класса три. Да и способностей не было...

А тут налетел как хозяин, помещный князь, чуть конем не затоптал. И какая властность в голосе, осанка!

– Времена-а... – только и сказал я, поднимая тяжелый мешок с луговины.

106. Все человек узнал-разузнал на Земле, все видел и все слышал, всю ее поверхность обобрал-обокрал, но сквозь землю еще не видит. Не видит еще клады и золото в земле, не видит целебные и ядовитые воды, текущие под земной толщей. Это последний, неприкосновенный запас Земли для наших потомков. Только самые праведные из них научатся слышать землю, понимать «голоса» трав и деревьев, чувствовать соитие вод и неба. Они предстанут перед небесным громом в чистых одеждах душ, и расторгнется, наконец, немодушие, так долго томившее нас.

107. Когда в огороде станет поровну земли и снега – самая пора топить баню. В субботу, как только перевалит за полдень, по всей деревне и начинают дымить бани. Банный дым клубится в сыром воздухе, припадает к остаткам сугробов, плывет над вытаявшей луговиной и сладко пахнет ни с чем не сравнимой горечью. Только в апреле, когда всюду снег, вода и уже земля, так радостен этот запах. Он причудливо перевит с запахом талой листвы, отходящих после зимы огородных грядок, просыхающей печной глины и первых луж. После весенней бани человек начинает и телом верить, что зиму пережил, переборол и теперь доживет до лета. Даже те, у кого нет ни дров, ни воды – а такое в нынешних деревнях встречается сплошь и рядом, – все равно стараются в это время протопить баню: на дрова пойдет старое прясло от изгороди, а вода рядом: в любой луговой луже, в каждой яме скопилась чистая снеговая влага – лучшей для бани и не бывает.

108. В поздние майские сумерки, перед наступлением ночи еще летят своим обычным путем птицы – утки, тетерева, кулики. Но летят уже как-то быстро, крадучись, бесшумно, будто стесняются своих брачных полетов в преддверии лета. Удивительны эти такт и скромность на фоне человеческого безумия и неистовства.

109. В мае вся молодая листва – и у трав, и у деревьев – светится каким-то чистым, радостным светом. В это время земля будто пытается что-то сказать человеку.

110. Кустится рожь, дрожит марево над болотцем, тонко и жалобно кричит кулик-кроншнеп над свежей яровой пашней. Уже с утра жарко – весна и лето одновременно. Ночью еще токуют птицы, бывает мороз, воздух «заборист» и тонок, но днем – уже ленивое спокойствие лета. Удивительное время.

Лето

С «Метеора» на наш берег много сходит людей. Почти никого не узнаю: все новые, молодые люди. Пока я учился и жил в Москве, Горьком, других городах, тут родилось и выросло не одно поколение. Молодые не знают даже названий старых деревень, затопленных новоявленным морем. Рассказывают им отцы о бывшей земле и жизни той – они слушают с усмешкой и снисхождением: «Давай заливай, хвались...» Для них минувшее здесь как полуфантастическая загадочная Атлантида: то ли была, то ли нет.

Давно я не видал своего дома зрелым летом, и память хранит прошлое: ровная трава на ровном бывшем поле, вокруг дома чисто и просторно, а надо всем этим возвышается дом.

Теперь мы приплыли и поднимаемся в гору вдвоем с сыном, который еще не видел моего дома. «Вот удивится», – думаю я дорогой.

Но удивился сам: дом почти до окон погрузился в крапиву, иван-чай, татарник, полынь, лопухи... А сверху над ним грузно нависли отяжелевшие листвою березы и черемухи. Вся усадьба будто выросла к небу, а дом и изгороди осели, приняли патриархальный вид. Весной это не было заметно, а теперь проступило.

Первым делом осматриваем и начинаем ремонтировать крышу. Раздевшись до пояса, стучим молотками на всю деревню. Перед обедом спускаемся к реке купаться. Трава на угоре уже выгорела, вытоптана поредевшим за последние годы стадом коров. Слепящую песчаную отмель бороздят темными плавниками лещи. Сын загнал одного на песок, радуется, тащит его от воды подальше. Мне жаль его разочаровывать: первая пойманная рыбина смертельно больна. Но отступать некуда. Сажусь на бревно и вспарываю леща ножом. Белый ленточный паразит, заполнивший все брюхо леща, противно шевелится. Сын чуть не плачет:

– Мне жаль его... Надо было отпустить.

– Все равно погибнет, – говорю ему. – Рыба должна жить на глубине, а этот не может.

– От чего он заболел?

– От воды, от стоячей воды.

Он смотрит на безмерно широкое зеленое море с недоверием. Что-то думает.

Минуя красный буй, проходит мимо нас груженный теплоход; выются, кричат чайки над отмелью; слепит, отражая солнце, вода. Коровы стоят по колено в ней и смотрят вслед уходящему теплоходу. Безлюдно и пустынно. Самая середина лета. К нашим ногам, наконец, бежит мутно-зеленый вал воды, поднятый теплоходом. И странно, даже на мели и на солнце гладкий вал этот не прозрачный, а будто пересыпан зеленой манкой. Это цветет вода. И густо, застоино цветет.

Молча поднимаемся на гору, и опять залезаем на крышу.

К вечеру стук наших молотков еще звучнее раздается на всю округу. На этот дробный стук пришла соседка Ия, оглядела снизу нас и крышу, заключила:

– Хорошо... А хорошо у вас получается, говорю, молодцэ. – Подумала и добавила: – Обей галко.

– Галку убить? Зачем?

– На кол посажо...

Я в недоумении передергиваю плечами, думаю, откуда у нее такой выговор, если она родилась в наших местах.

– Пусть живет.

– Неэт... Весь огород разграбела. Обей, пость жевэе боятса.

Мне нравится ее выговор, я и еще бы побеседовал с ней, но она уходит к себе, не желая вести время впустую.

Утром прямо с постели вышел походить босым по росе, а галки уж летят над крышей к огородам.

Вспомнил, сбегал за ружьем, стрельнул по последней стайке наугад. От выстрела галки дрогнули, нырнули за Иину крышу. Я дунул в ствол, как всегда после промаха, и понес ружье обратно. Выхожу из дому с ведром, а навстречу Ия. Улыбаясь, держит галку обеими руками, та еще вертит черной головой.

– Молоде-ец... Настоящей охотнек.

– Где ты ее взяла?

– А ты убел... Прямо на крыльцо мне к ногам и упало. Спасебо... Пойдо на кол привяжо.

А мне на кол привязывать никого не надо, потому что растет на бывших грядках только хрен да крапива. И от этого мне делается иногда грустно. Грустно еще и оттого, что дом юридически так и не имеет хозяина. Тяжелая это ноша для сердца – оформлять наследство после родителей или братьев. Нотариальные конторы должны бы помогать в этом, объяснять людям, с участием относиться к их горю. Но не так все.

Написав зимой в нотариальную контору очередное письмо, я запросил, каких документов еще не хватает. Ответ был – всего хватает.

И вот, покончив с половиной крыши, под дождичек (погода не для высотных работ) двинул я в райгород Макарьев к своему нотариусу.

У кабинета застал изрядную очередь. И ждали в основном потерявшие интерес к жизни старики и старухи.

– Второй день жду, нотариуса-то, – ответила мне старушка. – Вчера не работала она. А я из деревни. Вот и сегодня с пяти утра в очереди. Может, примет...

Я на это рассчитывать уже не мог: поздно приехал.

Попал я в заветный кабинет только на второй день и то к вечеру. И это было уже удачей, потому что рабочий день нотариуса был последним в эту неделю. Молодая женщина, мать-одиночка с малолетним ребенком, она, нотариус, работала по собственному расписанию. Очередь из стариков и старух за день мало убыла.

– А что я сделаю, – ответила мне юрист, с виду почти девчонка, – если одна обслуживаю два района. Два дня принимаю у вас в Макарьеве, а потом еду в Мантурово. И везде очередь, хоть разорвись...

Заходя в кабинет, я был полон решимости прочитать ей нотацию «за народ». Но вот представил, как она, доверив кому-то ребенка, трясется на автобусах из одного района в другой, чтобы разбирать чужие боли и беды, доказывать логику юридических законов полуграмотным, а то и вовсе безграмотным людям, и все это за мизерную зарплату, чтобы прокормить себя и дите. И у меня не повернулся язык. Не было виноватых. А точнее, кто-то был виноват свыше, недоступный ни мне, ни ей.

Да, новых документов от меня она действительно не потребовала. Но и свидетельство о наследстве не выдала.

– Когда же? – спросил я, теряя надежду.

– Когда будут все документы от всех ваших ближайших родственников.

А ближайшие мои родственники были развеяны по Союзу как песок ветром: кто в армии, кто в плавании на судне, кто в больнице при смерти... Попробуй собери. Прощаясь, я понял, что пройдет не один год, пока все образуется у нее на столе в соответствии с буквой и словом закона.

Однако дело надо было доводить до конца. Незамедлительно я уведомил об этом своих оставшихся в живых родственников.

И пошла писать губерния! Посыпались выговоры и обвинения в мой адрес, что взялся за дело и не могу довести его до конца. Вместо документов полетели письма и нотариусу – просили, стыдили и даже угрожали... Чем еще больше затягивали и портили дело. Таков результат нашей поголовной юридической безграмотности. Однако у меня создалось впечатление, что государство даже заинтересовано в этом общем юридическом невежестве. Трудно отделаться от мысли, что вся эта наследственно-документальная возня с гигантскими налогами и госпошлинами с наследства (почему, за что?!) как раз и рассчитана на то, что человек не выдержит, плюнет на все, и дом останется догнивать без хозяина. Зато уже как собственность сельсовета. Такова была суть рабоче-крестьянской власти и законности. Я думаю, что еще и с этого началось запустение и разрушение наших деревень. Для ясности скажу, что проходила моя тяжба с нотариусом еще до гласности и перестройки. Как раз накануне всего этого. А «Свидетельство о наследстве» получу я на руки лишь на шестой год после смерти брата Николая.

Ну а пока, поняв незыблемость юридически-бюрократической твердыни, я с облегчением покинул деревянное здание райсуда и направился на автостанцию, чтобы на второй день снова залезть на свой недокрытый дом.

Под конец мы с сыном перебрались на крышу двора: и она требовала ремонта. Работа эта была пониже и попривольнее, с видом в поле и перелески. Поэтому сидели мы на крыше с термосом и приемником, предчувствуя близкий конец важного дела. А дело нравилось обоим, и мы тянули время – не столько работали, сколько отдыхали. Пили чай прямо на крыше, слушали музыку и глядели в поля, перелески. Задумавшись о проходящей жизни, я вспомнил о нотариусе и сказал про себя:

– Вот, завещаю тебе дом и поле.

– А мне поля не надо, – живо откликнулся сын. Так быстро сообразил, что ему надо, а что нет, – я даже растерялся. И тут окончательно понял: вот на мне и закончился наш крестьянский род. Не ахти какие были пахари мои предки: ведь сначала в наших местах надо было вырубить лес, сжечь сучья, выкорчевать пни, а уж потом пахать. И были все по округе в равной степени и лесорубы, и сплавщики, и рыбаки, как и землепахари. И все же мне жаль засохшей крестьянской ветви в нашем роду. Сплавщицкие и рыбацкие побеги, хоть как-то, еще живы. А крестьянский сук засох. И уже никогда не оживет.

Вот такая историческая мысль и пришла мне в голову на покато́й к полям крыше.

И подходило уже время отъезда. А я, кроме крыши да нотариуса, ничего почти и не видел. Поэтому на другой день сел на велосипед и отправился в путь по окрестным полям, перелескам, с надеждой выехать и к реке. Взял удочки, несколько целлофановых пакетов, кусок хлеба и двинул на разведку. С сыном договорились: если поманит какая-то добыча, тогда повторим поход вдвоем.

Было рано, росисто и туманно. К деревне подъезжать в такой час робко, она как бы еще не готова встречать посторонних гостей. Но мой велосипед ходко катит под горку к Малому Волкову. И я не сдерживаю его бег: знаю, что там «живой» всего один дом. Мед-

ленно разъезжались отсюда люди: привольная деревня расположилась у леса, болото в лесу, а чуть дальше река. Просторно и несуетно, да воды не стало. Глубокий с воротом колодец, вырытый стариками, обрушился, и люди стали разъезжаться. Ремонтировать никто не собирався. Воду решили возить в бочке на всю деревню. Ну а это уж не жизнь, а одно ожидание. Особенно для таких людей, какие жили всегда в Волкове. Из архивных материалов известно, что однажды волковчане, посчитав луга в имении помещика Сокольского своими, избили его поверенного мещанина Троицкого. Другой раз заготовили лес, принадлежащий тому же помещику, вышли навстречу уряднику с понатыми, отобрали у них револьвер и ружья, а самих тоже избили.

Подъезжаю я к этой деревне, а в ней поют. Я даже с велосипеда слез. Людей не видно, а поют громко. Пело радио. Я обошел последний жилой дом, дверь была на замке, окна плотно закрыты, а приемник висел в простенке меж рам и работал во всю мощь, заглушая ранних птиц в перелеске. «С музыкой уехал», – вспомнил я хозяина, знакомого рыбака.

Осенью, когда я накоротке заеду сюда еще раз, мне откроется секрет этого радиовещания: я увижу двух конных пастухов, которые, сгуртив стадо коров возле деревни, слушают последние известия.

Так деревня Малое Волково с этого лета попала в список мертвых. Как последняя память о ней осталась у меня на слуху песня «Завалинка», которую лихо выкрикивало тогда бездомное радио.

Раздумья на осенней тропе

1. Вода, гора да небо – вот моя нынешняя Родина. Как мало, – скажет кто-нибудь. Но у нас всё большое: и вода, и гора, и небо. «Душой бы сравняться со всем этим», – думаю я часто вблизи и вдали от своей родины.

2. Однажды тихой осенью в солнечный тёплый день плыл я на маленьком плотике, кобылке, по реке, жёлтые листья падали в воду и плыли неразлучно со мной всю дорогу. На эти листья кидалась, ворочалась в солнечной воде крупная рыба. Я возвращался домой со сплава, и у меня ничего не было с собой кроме багра в руках да котомки за спиной, в которой лежала буханка хлеба. Сколько лет прошло, а я до сих пор жалею, что не оказалось у меня тогда с собой спиннинга или хотя бы просто блесны. Вот живу, и все кажется, что однажды я ещё повторю то плаванье с полным рыболовным набором. И тогда... Но ничего не будет. Это как любовь, которая однажды проплыла мимо, озарила всё вокруг и растаяла. И не догнать её, не окликнуть...

3. Осень, осень дорога... Спят поля и деревни. Сиро, беззвучно, беспросветно, но в луже разбитой дороги блестит впереди звезда. Иду на нее: «Когда уже нет никакой надежды на Земле, подумай о космосе и о том, что он отражается даже в земной грязи. Может, ещё и не всё потеряно».

4. В старой нашей усадьбе, а попросту в одичавшем огороде, падает со старых деревьев лист. Вызрел шиповник. На рябинах кормятся дрозды. Мой нынешний дом живёт от царских времён. Он прошёл через раскулачивание, большевизм, колхоз и совхоз, дожил до одиночества, до конца века, тысячелетия. На его стенах следовало бы написать имена всех родных – обездоленных, замученных и убитых сатанинской властью. Вымерли все: люди и скотина, пчёлы и яблони. Остались только берёзы. Моя охотничья собака ходит, нюхает их корни и вопрошающе глядит на меня: где мы в каком времени?

5. Шумит над землёй осенний ветер, раздевает последние нераздетые леса, студит поля и реки, тащит над лесами тяжёлые провисшие тучи, набитые тоской, злобой, местью. Как вылить бесхитростным, простодушным людям? Как спастись от многочисленного жулья, заполнившего все этажи жизни и власти?

6. Сколько ветров прошумело над крышей моего родительского дома. Пустого дома. Только берёзы склоняются над ним во все время года и что-то шепчут ему неумолчно. Слушаю их и не могу отделаться от мысли, что это не берёзы шелестят, само время – все мировые события и страсти, кружа вокруг земли, проносятся и над моим домом. Ещё нереализованные, ещё только выбирающие место, где бы приземлиться, эти предсобытия текут над Землёй широкой воздушной рекой.

Глухими осенними ночами, лёжа на печи возле самой трубы, я почти физически ощущаю этот густой поток мировых страстей и скорбей, овевающих землю. Может, поэтому, а не от одиночества так болит сердце и сжимается душа, а ветер в трубе кажется одушевлённым. Чем больше думаю я о жизни людей, тем больше материалистическое устройство мира кажется мне не единственным, не главным, не последним.

7. Человеческий мир меняется медленно, как лес. Все идёт плавно, постепенно, очень спокойно и безболезненно... Должно идти так. Так же должна изменяться не только общественная, но и семейная жизнь, без взрывов и падений, без особых перепадов – как спокойно исподволь готовится к зиме лес. И тогда наступит золотая осень.

В природе мы помним более всего золотой листопад, дождя, метели, мороз, грозу. А вот неприметную смену ветра или неожиданное затишье не замечаем, а ведь это и есть начало грозы или крепчайшего мороза. То же – и в общественной жизни.

8. Поруганная земля давно терпит на себе грешников, она ещё цветёт и родит, но, кажется, больше для животных и птиц, нежели для людей. Потому что среди людей всё меньше тех, кто дорожит своим званием и достоинством. Семьдесят с лишним лет топтал эту землю безбожный оптимист с партийным билетом в кармане, всё ждал обещанного изобилия и счастья и озлобился вконец, озверел так, что самого себя страшится.

9. Сегодня безумствующий безбожный «хам-сапиенс» грабит осиротевшую Россию. Где есть завод – грабят завод; где ничего нет а только лес и пустая земля – грабят лес. Утащит, пропёт и снова высматривает, где бы что половчее украсть. И всё ждёт, когда ему, лодырю, изобилие к порогу подкатит. Он помнит свое раскатистое звание – «про-лета-ри-а-ат!» А что значит это слово? Пролетел, схватил, что успел, и оставил после себя только мат.

10. Сегодня России надо побыть одной, как хозяйке, у которой слишком долго и много было детей и гостей. Всех корми, пои, учи, лечи... И вот все выросли, захотели свободы, счастья, разлетелись. Может, кто-то и снова будет просится под родительскую крышу. А хозяйина-царя у России убили, а другого хозяина, самозванца, никак не похоронят, а последний хозяин все болеет. Вдовствующая матушка Россия, бесконечно твоё терпение, вымоли себе наконец путного хозяина. Вымоли, чтобы и на небесах облегченно вздохнули.

11. Ни дом, ни дети человеку не принадлежат. Более всего человеку принадлежит душа. Вот за ней всегда и охотятся друзья и недруги. Похищение души – самая страшная пропажа, об этом плач вечный. Охранять душу и есть самая большая школа на земле.

12. Нас много умерших, то есть живущих ещё в этой жизни, но – мёртвых. И мы всё соревнуемся, обгоняем друг друга – кто больше, кто лучше. Мы хотим всё успеть при этой жизни. А она, жизнь эта, обречена. Мы живём в перевёрнутом мире, живём не в небо, а в землю. Говорят, главная жизнь там, среди умерших. А и то: сколько их там великих умов, отважных сердец, чистых душ и светлых имён... Они ждут нас с надеждой и верой, но мы плохо готовимся. И ничему не верим.

Пришёл однажды Человек с благой вестью, объяснять нам, где верх, где низ, и мы его распяли. Люди многое могут понять, ко многому привыкнуть, смириться. Но когда переворачивается сознание – человек восстаёт. И пытается доказать, что он прав.

И проходят века.

? В России Империю
 Ни Иорданские, ни каменные нам не
 возродит в том виде, как это было
 То Времени и ушло, Творить опять России
 несет в себе громадный потенциал. Вот счаст-
 ливый демографическо-экономический голод, побуждающий
 Укрепиться, отстоять Россию и вновь подняться
 духовные исповедники на удивление миру
 Можем быть изданы падение равновесия
 всему миру. Все духовно просветление
 человек угрожает плохое. А все спонтанно-
 азиатский народ? Так-то М. Пржевальский писал: «
 как гала, меня косит, а я она расту»
 Можем и Россия так: косит ее свои и чужие,
 но она еще не умирает, а она она растет
 По закону физики много испытывающих
 народ, не выжидает, а сопротивляется крепче
 устойчивее. Мы никому не дали добрым
 ради доброты, потому не дали азиатским
 ради равенства. Все это конечно было,
 но ради культуры, литературы, духовности
 По всему видно, что миром. Кажется Россия
 — охраняет духовных рубежей человечества
 Не перебалтывали о русских Аллаху, Рюрику
 1. Волков, Пехов, Волочков, Букин, Плосков
 Религия радости, это целая плеяда
 славянских философов, возмущающих к нам в это

А мы всё пытаемся исправить жизнь отцов, дедов, но не пытаемся исправить жизнь человечества.

13. Дорога через бор под высокими соснами. Летом идёшь за грибами — бор шумит; осенью идёшь — шумит; и зимой — шумит. Вершины старых сосен живут своей обособленной

жизнью, живут между землёй и небом. Кажется: какая воля! А поживи-ка так, помотайся на одном месте и в дождь, и в жару, и в мороз, и в ветер. Излишняя свобода отдаёт скукой.

14. Иногда тянет в старую деревню с размеренным укладом жизни: с мудрыми стариками, замшелым колодцем, с криком петухов, жужжанием пчёл и тёплым ласковым солнцем, не жгучим, а покойно-невозмутимым в окружении лесов. Всё чудится, что где-то такая деревня еще есть, сохранилась, надо только собраться наконец и поехать. Но всё некогда, некогда. И хорошо, что некогда, потому что и деревень таких, и людей сегодня просто уже нет: нет её, прежней жизни. А скоро не будет и нынешней.

15. Древний бор. Лежу на тёплой сухой хвое. Сосны медленно водят вершинами по чистому небу, по белым облакам. Покой на душе, ибо со мной обе родины: земная и небесная. Земная под спиной, а до небесной и по сосне не добраться. Сколько праведников прошло этим путём, и не оставлено ни одной зримой вешки, ни единого следа. Потому так и трудно материалистическому уху поверить в этот небесный путь.

16. Доживают в лесу старые забытые дороги, по которым ездили ещё на телегах. Выйдешь на такую и удивишься: растут в колеях грибы, черника, посвистывает рябчик... Идти по этой дороге и отрадно, и почему-то грустно, особенно если ты бывал на ней в детстве, юности. Дорога зарастает, сужается, гложет. Идешь – и будто сама жизнь уходит и из-под твоих ног: никого уже нет, кто ходил и ездил по этой дороге. А ведь жил человек что-то думал, куда-то ехал, торопился... И вот будто поднялась за лесным поворотом дорога в небо, и он неслышно восшествовал по ней в иные, небесные леса. «Видит ли он нас теперь, бывает ли на этой дороге?» Идешь, думаешь, тихо ложится на алую голову гриба лист, посвистывает рябчик, и неведомо тебе, за каким поворотом поднимется в небо и твоя дорога.

17. Самое дорогое у птицы – гнездо. Но проходит время, она бросает и гнездо, и оперившихся птенцов и, прощаясь, с печальным криком летит на юг. И ничто её не остановит.

Есть гнездо и у человека: город, институт, квартира, семья... Но проходит время, и человек тоже «улетает», а мы все начинаем вопить, страдать, лить слёзы – как бы не пускаем его «туда». Так переживаем, будто случилось что-то противоестественное. А что противоестественного в том, когда птенец той же птицы через три-четыре месяца оказывается на другом краю земли и никогда больше не увидит своего гнезда-дома? И разве хуже ему там, чем в заснеженных бескормных полях? Но мы боимся...

18. Сейчас в деревнях: дичают даже огороды. Зайдешь осенью в такой огород – задумчиво роняет листья берёза, а под ней – гриб подосиновик, стоит будто милиционер – сам гость, сам хозяин, один на всё подворье. Приглядишься, а тут уж и можжевельничек укореняется по лужку, и рыжик уже пробует расти – совсем как в лесу.

И странное чувство овладевает тобой: и горе и радость, смятение и недоумение. И есть отчего: впервые стали расти грибы посреди деревни. Ум понимает, а душа всё своё: «Тут что-то неладно. К чему это всё идёт?»

19. Опустевшая округа печалит сердце одиночеством и вечностью обездоленных полей. Весна ли, осень... – будто жизнь начинаешь сначала, как после битвы, где многие полегли так и не поняв, за что страдали и бились в этой жизни. Вечное русское поле без них цветет и ветряет сорняками, всё ждёт своего истинного хозяина.

20. Осенью можно «ухватить» время, когда одновременно растут грибы, берёт рыба, летят утки и есть ещё некоторые плоды, ягоды. Весной такого разнообразия не бывает, весна голоднее, но для души радостнее. Будто специально разделено: осень – для людей старозаветных, весна – для новозаветных.

21. Где кончается поле и начинается лес – раздорожье, погружённое в болотину. И всю жизнь люди тут блудятся: и болотину надо переходить и дорогу выбирать одновременно. Человек теряется, а перейдет трясину – сразу сухой бор, дорожные колеи так чисты и прямые, так сманивают в глубь леса, что хочется идти и идти... Ну и идёт себе человек, посвистывая, пока не выйдет совсем не туда, куда хотел.

Так часто в юности мы неверно выбираем дорогу жизни; лишь бы из болотины выбраться, из бедности, безденежья, поскорее встать на сухую колею, а там... А там – и жизнь пролетела.

22. Когда, смотришь за природу как на создание Божие: лес то или болото – сразу все обретает равновесие, успокоение, смысл. И жить среди всего этого становится как-то радостнее и проще: все на своем месте, всё в своей красоте и гармонии. Видимо поэтому всякий разумный человек рано или поздно должен признать существование если не Бога, то Высшей гармонии. Иначе хаос, бессмыслица всего, в том числе и собственной жизни. Ибо мир держится на гармонии, а не на инженерном расчёте. Безусловно наоборот: познанные наукой законы природы и точность инженерных расчётов есть не что иное как часть общей гармонии мира, открывшаяся человеку. И конечно, не полностью.

23. Земля всё сносит: всякий мор, неурожай, наводнение, засуху. Отъявленное человеческое хамство. Хам мучает её, выжигает, сквернит... Однако, рано или поздно, а утаскается и он, сопьётся, свалится и подохнет где-нибудь на корнях не дорубленного дерева. Или утонет в весенней воде.

А земля, дождавшись тепла, отмякнет, зазеленеет, зацветёт и ничем не попрекнёт живущих за того мучителя-хама, не помстит за него и даже намёка не даст – будто и не было ничего. Удивительно её терпение, незлопамятность.

24. В золотую осень в солнечной заливинке греется бело-чёрный селезенка: то комом снега сверкнёт, то сажет на ярко оранжевой воде. Будто любит себя, примеряется, как он будет выглядеть на этой заливине весной... Гляжу на него из-за кустов и не могу понять; зачем он так красив? Для продолжения рода хватило бы и не такой яркости. А он вызывающе, разительно красив! И замечен отовсюду настолько, что жизнь его постоянно в опасности. Но он будто и не думает об этом. Уж не робеют ли от этой красоты и враги его? Как робею, не стреляю я? Может и в каждой живой душе на Земле изначально теплится, живёт несказанно-неписанно это гениально угаданное однажды: «красота спасёт мир».

25. Бывает в вечеру выстрелит кто-то в глубине леса – лес вздрогнет, отзовется гулом от горизонта до горизонта, и опять воцарится тишина, ещё плотнее прежней. А ты стоишь на просеке я думаешь: кто там стрелял, в кого, попал или нет? Может, зверь умирает, может раненая птица в смертельном страхе валится с ночного неба в лесную крепь... Постоишь немного и идёшь дальше. А в окрестных деревнях и вовсе никто не обратит внимания на этот выстрел. Ночь спеленает тишиной землю, – и к утру всё забыто.

А вот когда в нашей душе раздаётся «выстрел» – мы немеем и призываем весь мир быть сострадальцами и соучастниками. И если кто-то не видит и не слышит нашей боли, мы теряем рассудок и не прощаем ему чуть ли не до смертного часа. В эгоизме своём мы

призываем в этот момент Бога: он всё видит и слышит и уж непременно пощадит нас, мы уверены в этом. А если и он не отзывается?.. Нет, нам и в голову не приходит, что кому-то возможно, ещё безвыходнее и хуже нашего, и он ждет нашей помощи. Все мы в единой цепи, все от горизонта до горизонта, и даже выше. Все ждем помощи, и все не спешим на помощь; все скоры на обиду и не все способны на сострадание. А где возьмёт Тот, Кто жалеет всех и помогает всем?

26. Мы выросли в большой стране и в маленьком времени. Во времени, ограниченном материализмом – коммунизмом, и на неограниченной территории появились особого рода мутанты, – люди страны советов. Теперь мы старательно открещиваемся от своего прошлого, будто не окрестились уж раз себе во вред. Прошлое не тяготит, а учит. Но мы горды: сами хотим учить других, перешагнув советы отцов и дедов.

27. Человек построил дом и умер. Дети живут в этом доме и жмутся к его стенам будто к отцу, дом защищает их от дождя, ветра, холода, и они не чувствуют себя сиротами. Так они будут расти, всматриваться в пазы, матицы, подоконники, рамы и будут учиться без отца всему, что умел он. Постепенно они изучат весь дом и поймут, как надо строить, и жить в доме. А когда вырастут, построят дома свои, женятся и начнут жить, как жил отец.

Все русские люди в деревнях так учились, строились, крепили. Казённые дома, конечно, бывают и лучше саморубленных, но такой «педагогика» они уже не имеют.

28. Всё изменилось: леса и воды, изменилась жизнь и сам человек, неизменным осталось только небо. На него и надежда. Может, поэтому мы с таким интересом слушаем сводку погоды. И даже плохая погода нас не очень расстраивает: есть вера, что природа выправится, выравняется сама. Она ещё неподвластна человеку, ещё питает нашу надежду на выживание, но к чему-то опасному мы подошли уже очень близко.

29. Вечно бежит река и вечно оmyвает камни у берега. Когда-то берег был гол, теперь он урос лесом, берёзы и сосны глядятся в воду. Много людей сменилось на этом берегу: одни умерли, другие выросли и уехали, третьи недавно приехали и доживают тут жизнь. Придёт время – состарится и лес, берёзы рухнут в текучую воду. Родятся новые люди, подрастут и будут удить рыбу с этих упавших стволов, не ведая, что было до них. И ещё раз сменятся люди и деревья. А вода всё будет так же журчать по камням. Ей износу нет.

30. Посреди России под дождливым осенним небом среди пустых неплодородных полей лежит разбрызганная нагая дорога. Куда ведёт она и откуда? Во все стороны бескрайняя нужда, серость, забитость, пьянство с тоски и безысходности. Некуда ехать, незачем да и не на что. Был недавно в дальнем лесном посёлке: работы нет, ходят в лес за клюквой, сдают её за бесценок и пропивают дома, вблизи от своего кладбища. Так надёжнее: вдруг смерть – так хоть рядом, не тащись по российским дорогам в гробу, не надрывай родню.

31. Сентябрь – месяц спокойный, раздумчивый. Лето и осень заигрывают друг с другом. Ещё цветут цветы и уже падают листья; созрели ягоды и растут грибы; еще берет на удочку рыба, жируют утки, но уже потянулись к югу многие птицы. В сентябре жнут и сеют, бывает жарко, а ночами знобит от холода. В сентябре очищаются реки, вода становится прозрачной до дна, летит паутина и собираются в стаи тетерева. В сентябре поспевают клюква, жгут картофельную ботву, и косят последнюю отаву. Зелено-желтый и дождливо-ясный месяц, месяц сплошных перемен, перепадов. По непостоянству, пестроте – родной брат апрелю.

32. Есть поле, болото, луговина, лес... Наиболее одушевленным и мудрым в природе мне кажется лес. Вот опадают листья и лес погружается в дремучую зимнюю думу... Особенно лес старый древний, который «помнит» наших отцов и дедов. Такому лесу всегда хочется поклониться, побыть с ним наедине. У меня всегда возникает чувство, что лес этот знает что-то о нашей жизни (только не может сказать) чего не видим, не чувствуем мы. И всегда завидно, что звери и птицы лучше понимают лесной язык, чем мы, люди.

33. Осенью есть особая прелесть в дубовых приречных лесах, дубовый лес никогда не смущает душу, даже ночью. Он крепок и надежен. Когда я долго не бываю в дубовом лесу, особенно осенью, мне просто физически чего-то не достает. Есть в этом лесу, как в хорошем человеке, постоянство, мудрость, доброта и уравновешенность. В нем легко и просторно, он не тяготит душу, лишен колючих зарослей, в нем трудно заблудиться. И все время он как бы сосредоточенно думает, листья и желуди роняет будто спросонья, словно само время опадает с вершин.

34. Когда над полями вдоль осенних дорог полетят к югу гуси, почему-то замрет сердце и душа разом приподнимется над всеми мелочами жизни. Какое-то время она будто висит в поднебесье. А когда цепь гусей измельчает, уплывет к горизонту, душа с тоской вновь опустится на грязную дорогу, брошенные в поле бороны, на раздавленные вдоль дороги кусты, на все рытвины и ухабы, на покосившуюся ферму с кучами навоза... Вот тут и охватит тебя невыразимая тоска, предчувствие глухой дождливой осени и бесконечной безрадостной зимы. Будто репетиция, будто примерка, — когда душа должна будет покинуть тело, и всю эту грешную землю.

35. Только в России, в её средне-северных полях перелески являются помехой сельскому хозяйству, их как нечистую силу рубят под корень, жгут, сдирают вместе с землёй бульдозерами, сгребают в болота, утаптывают гусеничными «лаптями» тракторов. А они опять растут... И нет этой войне конца.

Эта неистребимая вражда чиновников к лесу, к любому дереву в пределах отечества паразитерна. Она заложена в российском человеке как будто на генном уровне, она сильнее политических, религиозных, родственных и прочих чувств... И если прикинуть в уме всё, что вытворяли мы с лесами за советский период жизни, невольно приходит мысль: «Это наваждение нечистой силы с целью погубить Отечество и народ». Всякое иное объяснение будет просто слабо.

36. Животный мир, тот уже хитрее. Осенью в наших полях полно сов: значит есть ещё мыши. Поэтому есть и лисы. Но зайца, тетерева, рябчика встретишь уже редко. Поля стали просто почвой, удобной или неудобной для работы тракторов, площадью для агрономического учета-отчета.

37. Жалок срок человеческой жизни рядом с жизнью природы, самой земли. Поэтому природа и должна быть умнее человека, выносливее, терпеливее. Ей надо всех пережить и сохранить себя хотя бы для тех кто еще не отчаялся в жизни.

38. Земля живет вечно, а народ — нет. Уходят одни люди, приходят другие. Но что-то постоянно должно быть на Земле — выше государств, правительств, правителей... Что оно и где оно? Кто не думал об этом, тот вообще еще не задумывался о жизни. Люди довольно часто путают размышления о себе с размышлениями о жизни.

Так кто же правит Земной жизнью? Ведь и на дереве ничего не совершается случайно. А вот на целой планете пытались и пытаются установить порядок какими-то партиями, революциями, войнами, исходя из собственноп придуманных теорий. Земля – слишком большая для одного ума и для одной жизни.

39. Мир переделать невозможно. Но почему-то всегда находятся люди, которые жаждут этого. Им однажды начинает казаться, что человечество до них жило не так, замучилось, а вот они начнут и всем устроят счастливую жизнь.

40. Более запутанной судьбы как у русского крестьянина ни у кого нет. Всю жизнь его учат, наказывают, жалеют, калечат, морят голодом, упрекают, стреляют на всех войнах, критикуют, надсмехаются, любят, воспитывают и... презирают.

А он?

А он так и живет непонятый, непостижимый. Он – разный, многоликий, многообразный. Он не упирается в эту уготованную ячейку «крестьянство». Вообще раздвоение людей общества на классы хорошо только для революционных теорий, для всяких ученых записок. Все эти классы и подклассы больше подходят для животных и растений. А для человека это даже унижительно, для отдельной же личности – и оскорбительно и глупо. Все эти классовые рамки так устарели и надоели живым людям, что их давно надо сломать и выбросить, как тесные парниковые ящики для выросших растений. Они давно тормозят развитие общества, держат его в какой-то заржавевшей узде, от которой никому и никакой пользы давно уже нет. Но человечество консервативно, трудно расстаться с любимыми шаблонами.

41. Когда сухой осенью выйдешь на полевой взлобок и посмотришь окрест: на дальние золоченые леса за полями, на солнечную ширь Волги у горизонта, невольно приходит мысль, что Земля объята глубокой важной думой. Дума эта будто испарение идет прямо к небу, постоянно пронизывая всех нас, живущих. И как жаль, что мы этого никак не осязаем, не чувствуем и даже не догадываемся об этом. Когда-нибудь люди научатся не только чувствовать, но и понимать дыхание Земли. Тогда жизнь будет откровеннее и яснее.

42. Долго не понимал, зачем в наших полях вырубают опушки лесов, распахивают болота и пустоши, режут плугом по самую колену дорогу.

Объяснила недавно двоюродная сестра, агроном: «А чтобы урожай с гектара больше был: припаханная земля не числится, а урожай год от года «растет». Так план выполняют – начальство хвалит»...

И допахались до самых околиц.

43. Природа тем еще хороша, что ее не может полностью украсть ни один хапуга, ни одна власть. Леса и болота имеют возраст: молодой, старый, древний... Их разом «не украдешь». Активная же жизнь зверей, птиц, рыб, насекомых строго «раскидана» не только по годам, веснам, осеням... но даже и по часам суток. У каждого своя неделя в месяце, свой день, свой час... Поэтому ни один головотяп и за целый рабочий отпуск не сможет очистить весь лес или озеро. Он не только не истребит тут все живое, но даже и не увидит большую часть зверя, птицы, рыбы.

Хам и хап развиваются параллельно с угасанием природы. Они идут по ее следам, «наступают на пятки». Но природа знает науку веков иногда она на годы уходит в землю, на дно водоемов – переживает, пока очередной «хамо-хапиенс» обломает себе рога.

44. Жизнь изменяется быстрее, чем мы думаем. Вещи, дома, дороги, деревья – все стареет медленнее нас самих. Всё переживёт нас. Трудно понять и принять вечность мира и то, что движется не время, а – мы. «Как быстро летит время!» – часто повторяем мы, воображая себя неподвижным и неизменным центром мира. Привыкли.

45. Пришли на землю новые люди и решили, что они умнее всех. Вместо собственного труда решили взять землю химией и машинами, вместо дождей – запрудили реки, вместо ветра заставили работать атом...

Помучались, помучались и, наконец, поняли, что земля и до них была устроена неплохо. Ничего и делать не надо было с ней: только пахать, сеять, собирать урожай. Зачем Божье дело взваливать себе на плечи, даже большевикам оно оказалось непосильно. Мир устроен разумно, обязанности давно распределены на земле и на Небе. Человеку была поручена одна задача – устроить самого себя. Не хочет.

46. Даже и поздней осенью пока в лесных озерах плавают на поверхности желтые и багряные листья, вода еще не кажется холодной. Но когда разом облетит вся листва, лес поредеет и «отощает» – то же самое озеро видно издалека и враз становится пустынным и зябким. Оно уже не тянет к себе до тех пор, пока не покроется льдом.

47. Осенний полет уток над самой водой поражает своей целеустремленностью и красотой. Можно часами следить за стремительными виражами утиных стай где-нибудь на глухом озере и не испытывать затерянности, одиночества, но стоит откочевать уткам дальше на юг, как повисает над водами плотная будто свинцовая тоска, что-то обреченное, безысходное. И ничем тут не развеселишь себя. А причина одна: природа должна быть живой. И это почему-то более всего потребно человеческой душе.

48. Всякую осень, когда убраны поля, облетели леса и настывает вода в реке, все спасение в деревне – русская печь. Дорога залиты дождевой водой, в огороде сыро и пусто, родня далеко... Что тут делать? Даже скотина и та не хочет гулять, рвется на свое подворье почти с обеда. Вот когда нужен человеку крепкий дом, жаркая баня, полный запас солений в сених и подполье.

Так и жили всегда, не боясь зимы, скуки – ждали первых морозов, потом первого снега, Введения, Рождества... И не страшился крестьянин долгих снегов, заносов. Не то нынче. Старый календарь и обычаи сбиты, а нового жизнь пока ничего не дала.

Одни обещания, и были, и есть.

49. Почему по лесным дорогам так легко ходить и тяжело в людном городе? Не только из-за воздуха и суеты. На лесных дорогах нет оброненной злой энергии, которой переполнены метро, автобусы, улицы. Она как путы постоянно захлестывает ноги и поэтому городской житель не любит тяжелой обуви, одежды, а легкости все равно не чувствует. Если его нарядить в спецовку и сапоги сплавщика или лесоруба, он будет чувствовать себя как в водолазном скафандре.

Но особенно легко в лесу на просеках и полянах, может, поэтому веками на них токуют птицы.

50. Меня всегда поражает удивительное постоянство земли, какой-нибудь незначительной болотинки среди полей, в лесу, в перелеске. И воды-то – едва сапогом выдавишь, и дорога рядом, и лесу путного вокруг нет... Но придет весна, и по болотинке этой пойдут волны, как по настоящему озеру, сядет куличок тут с усталости и уточка приводнится.

В конце весны заквакают «жирно» лягушки, соловей запоет. А к середине лета вымахает осока или камыш. На малом пятачке земли, что бы ни происходило вокруг – пахота, лесоповал, движение и грохот машин – вершится настоящая болотная жизнь по всем ее признакам. И даже глубокой осенью именно сюда прилетит опять куличок, сядет уточка и не опустится неболотная птица, не перепутает место. Как они все знают.

51. Земля передается нам как эстафета, от младших к старшим, век за веком. Мы не знаем, лично каждый, не ощущаем, как она жила, менялась на протяжении хотя бы пяти последних веков! Как изменялись леса, реки, воздух, климат... Сведения обо всем этом, конечно, есть, но разбросаны, скупы и не точны. Все приблизительно, не полно. Пора выпускать мировой статистический бюллетень по всем природным показателям Земли. Это будет важнее отдельных горько-обличительных статей, очерков журналистов и вздыханий поэтов, эти бюллетени должны с утра ложиться на столы главных президентов земли. И самочувствие земли должно быть первой и главной заботой всех президентов.

52. В прошлом земли все история человечества. Когда-то люди разговаривали с Богом, слушали друг друга и понимали. Но часто и не понимали.

Потом человек возгордился и сам вообразил себя Богом. Был осажен, и вновь стал набирать наглую силу...

И вот в последний срок тысячелетия повторяются все события последнего века: мы пережили две революции и две войны, вновь «расцветает» казачество и дворянство, разом объявилось великое множество лицеев, колледжей, университетов, академий... Объявились маги и колдуны, одновременно воспряло христианство, появились свои банкиры и меценаты; сколько людей уже побывало президентами различных фирм, торговых центров, ларьков, а то и просто бандитских сборищ... Идет парад всех событий и перепадов уходящего века, как повторение пройденного исторического урока. Мы начинаем или доживаем свой человеческий век, а Земля доживает свой, и нам надо внимательно следить, к чему она готовится сегодня.

53. Как помню, всю жизнь не хватало времени. Все спешил, спешил... А много ли успел? Да что я, века проходят, народы, царства, партии... И всякий народ, всякое царство-государство живут в своем времени. Из своего времени не выпрыгнешь. Время человеку и государству дается по росту его души. Россия большая страна, и ей не по плечу оказалась временная одежда большевицкого покроя.

54. Проселочная полевая дорога сквозит через перелески, Идешь по ней и читаешь ее будто календарь: вспоминаешь по годам, с кем шел и куда, какая погода была и о чем говорили... Иных замет не остается в памяти, а вот дорога напоминает...

Дует ветер, летят с севера гуси. И не хочется тебе расставаться даже с этой сырой пустынной дорогой. Привык. Не хочется думать, что вот уйдешь и ты, а дорога останется, смоем вода следы – и больше ничего от тебя в этом мире не останется.

Гиблая осень

На скате полей четыре жилых дома – все что осталось от деревни. Покосившиеся дома стоят наособицу, потому как деревня расчленена крестом двух глубоких полевых дорог, не деревня – разъезд.

В верхнем крайнем доме (а они все тут крайние) живет одинокий старик. Он давно на пенсии, нынче оглох, жена у него умерла, дети и внуки в городах. Его дом стоит окнами в

поле, из окна видно, как над полем летят птицы: весной – на север, осенью – на юг. Старик удушливо кашляет, отравлен газами еще на войне, в плену.

Всю жизнь он работал в колхозе, ходил на охоту, за грибами, ловил рыбу. А теперь никому не ходит, только глядит в окно.

Особенно тоскливо осенью, когда уйдут с полей последние комбайны и тракторы. Сидит он у окна, дует ветер над пустыми полями, и проходит жизнь. А в голове одна дума: «Когда умру, кто сообщит детям, как похоронят?..» Единственная грамотная, еще молодая, соседка (а они все тут соседи) у которой адреса его детей, этой осенью сошла с ума.

Вечереет, старик подходит к окну, садится на расшатанный стул и глядит в поле, там клонится на меже полынь. Куда она клонится – туда, значит: и ветер дует. А каков ветер – такой и погоды жди. Всей жизни у старика осталось: глядеть из окна на ветер. В эту осень ему все чаще снится: «Вот стихнет ветер, и кончится моя жизнь». С этой думой он ложится спать, с ней же и просыпается, и сразу идет к окну. Качается кустарник, гнется полынь на межнике – значит жив. И он боится, что однажды ветер стихнет...

Он не ошибся, умер на рассвете, когда в полях было удивительно тихо, шел первый легкий снег. В деревне все ещё спали, лишь по белому межнику гуляла соседка, босая, полураздетая. В великой предутренней тишине она осторожно срывала опушенную снегом полынь – собирала букет из «первых зимних цветов». И очень сердилась, когда белые цветки облетали и таяли у нее на голых руках и коленях.

56. В середине России – голая дорога под дождливым осенним небом среди голых неплодородных полей. Куда ведет она и откуда? Во все стороны бескрайняя нужда, серость, забитость, пьянство, потеря всякой веры.

Потеря веры не только в будущее, но – и в прошлое, то есть замутилась историческая память. Есть одна вера – в непредсказуемость, случайность.

Дорог посреди России много, но идти и ехать по ним никто уже не решается: и дорого, и везде одинаково плохо. Все сидят дома возле своих родных кладбищ. Сейчас одну дорогу до кладбища люди только и могут осилить. Так живет провинция. А у нас вся Россия – провинция.

57. Прошлое часто было не совсем таким, как об этом рассказывает история. Дело в том, что историю пишут победители и первая их задача – оправдать свою победу любыми путями. У победителей плохих историй не бывает.

Будущее чаще всего нам является не таким, как об этом загадывают и обещают нам историки и политики. Опять же: будущим они оправдывают своё настоящее. Основное подтверждение того и другого: политики то и дело говорят неправду, даже о современности, то есть о нас с вами, говорят лишь с той целью чтобы запутать и обмануть своих политических соперников. Вывод: политическая жизнь имеет мало общего с жизнью народа. Задача народа: зорко следить за лозунгами и действиями политиков. И всегда сохранять нейтральность к их устремлениям, не менее чем вполовину от общего населения. Тогда при тайном замысле трудно будет погубить страну и народ. К этому выводу давно пришли все цивилизованные страны Европы. Народ же послушный политикам чаще всего живет не своей жизнью, а жизнью заложника.

58. Сейчас жить трудно еще и потому, что – самостоятельно. Самостояние обязательно для всякого. У нас же многих это напугало, лишило рассудка, обидело... Мы еще и собственную жизнь не считаем своей, а надо дойти до того, чтобы всю Россию считать своей и беречь ее как собственность, и не только свою, а – дедов, и внуков. Тогда все и наладится.

59. В лесу ж дорога хороша, а просека еще лучше. Почти на любой просеке можно найти пенек, и если устал, то не следует и ходить больше по лесу: на просеку «выходит» из лесу любой гриб поближе к свету, по просеке кочуют осенью рябчики. Как самолет, черной тенью, распластав могучие крылья летит тяжелый глухарь, выходят оглядеться кабаны... Да мало ли кто. Даже зайчик-беляк и тот любит прогуляться по просеке пока не спугнут его. А спугнут – юрк в сторону: и опять в лесу, под защитой кустов и стволов.

Особенно красив на просеке листопад в серенький задумчивый день, когда плывут над вершинами облака и изредка прорывается из них солнце.

60. Живет в моем болоте заяц, русак. Может быть, последний по округе. Весной, когда добираюсь из города через болото к своему дому, он обязательно перебежит мне дорогу, остановится совсем рядом в поле и глядит, как я снимаю тяжелый рюкзак со спины.

Через день или два, оттопив свой дом, иду рано утром на ток – опять он мелькнет белыми штанишками, утекая с окраины поля в кусты. Летом соберусь за грибами – выскочит из-под елочки. И зимой, побелев, крутится тут же, в своих и моих родных местах. Убить его – не составляет труда, и много раз была такая возможность. Но не могу я на него поднять ружье: он стал мне вроде друга, даже больше – он хозяин тут, а я частый гость. Ну убью, а кто же меня будет встречать весной? Ведь родных уже нет. Иногда думается: «Наверное он меня считает как охотника ненормальным.» А я – его. Но уж лучше два ненормальных, чем один очень деловой и «умный». Одному – скучно.

61. Осень. И поселяется в полях и перелесках сиротство земли. Задумывается обреченно вся округа, будто кто обидел ее. И гнетет душу какая-то вина. Правда нет уже прежнего страха перед партией и сельсоветом, нет ответственности за «передовое ученье». Но и радости никакой нет. Есть тревога за будущее России и всей Земли.

62. В октябре отходит наша природа: деревья: кустарники, травы – все будто умирает. Но умирают не на совсем, а только до весны. Почему же в человеческой жизни не должно быть общей весны? Если человек сотворён сложнее дерева, то может ли его жизнь завершаться так же как у дерева?

63. Дорога, особенно просёлочная, всегда кажется мне живой. Она чем-то напоминает реку, но «течёт» как бы в обе стороны. Дорога – это не просто земля, по ней постоянно течёт жизнь людей. И если бы она умела писать – сколько бы она могла нам поведать о людских судьбах – о думах, слезах, откровенных разговорах, мечтах, встречах, печалях...

64. Другое дело – лесная просека. Идешь по ней из лесу, кончается она, и всегда тянет остановиться и оглянуться. Просторно и покойно в сухом осеннем лесу. Посидишь минут пять на осенней просеке – и обязательно что-то да случится: или гриб боровик глянет на тебя из-под мха как из под шапки, или глухарь как самолёт протянет воздушным коридором и обдаст тебя шумом и ветром крыльев, или просто слетит с осины лист и пока мельтешит до земли как оранжевая бабочка, что-то вспомнишь или подумаешь о жизни такое, чего за всё лето на ум не пришло.

65. Когда заблудишься в тумане посреди поля, то бываешь не только огорчён, а вроде, и рад: мир перестаёт существовать для тебя в прежнем виде; ты изолирован, вычеркнут из прежних размеров поля, дорог, всей округи... Ты один и совершенно свободен. Может, что-то подобное испытывает человек и в свой крайний срок на земле. Может, это единственное отрадное чувство – свобода от прежней жизни.

66. Погожие дни осени. Они будто для того и даются, чтобы испытал человек короткое тихое счастье перед долгой зимой. Только в это время жизнь кажется хрупкой, почти прозрачной и совсем не принадлежащей нам.

67. Чего больше: беззакония или беспризорных диких мест по России? На тысячи вёрст лежит неприбранная, неприкаянная земля: вроде наша и вроде ничья; и взять нельзя, и власти о ней помнят как бы в полудрёме. Так и живём по отдельности: земля, леса, реки – сами по себе, а мы, люди, – тоже отдельно. И отдельно ото всех жила и живёт Москва, а в ней уж совсем обособленно ото; всех – Кремль и Белый дом. И у всех одна задача – выжить. Но беда в том, что каждый стремится выжить либо сугубо лично (лучший случай), либо за счёт другого, других. А согласного действия так и нет.

68. Прошло лето 97-го года. И опять ничего не случилось. Земные глашатаи пьяны, корыстолюбивы, немодушны...

Вот предзимье, первый снег, туман... Каплет в саду с яблонь, каплет и по всему лесу. Всюду, где валяется мёртвая листва под деревьями, стоит вкрадчивый смутный шорох – будто земля шепчет деревьям последнюю – древнюю молитву. А они стоят покорно как на исповеди, и слёзы сами каплют у них на мёртвую листовенную плоть. И хочется постоять молча рядом, приобщиться хоть к их таинству: так оскудела и замкнулась душа.

69. До 1991 года страной управляла перезревшая компартия, теперь недозревшая комсомолия.

И вот страна ждёт, когда перелинявшие комсомольцы созреют. Но что это будут за «фрукты» – никто не знает.

А пока хоть бы один приличный завхоз на всю страну!

70. Большевики воспитали особую категорию людей – советских. У нас даже академик очень часто похож на шпану, жулика. Почему бы? А иначе ему просто было не выжить и уж, конечно, не выйти в академики. Ему постоянно была нужна имитация серости, то уголовщины, то холуйства... Выход из этой нравственной комы ещё не освоен. Первые опыты могут быть со смертельным исходом. (Андрей Сахаров).

71. У большинства нашего населения главное впечатление от деревни: холодно, голодно, грязно. У иных: природа, тишина, покой. И редко у кого: хлеб, продовольствие, благосостояние страны.

Люди, проклявшие свои поля и крестьянство, не имеют права на счастливую и даже просто нормальную жизнь. Наше крестьянство первым проклял и начал уничтожать Ленин (как класс в революции «несознательный»). Однако большевики не стеснялись потом называть многие хозяйства: «Колхоз им. В. И. Ленина», совхоз «Путь Ильича» и т. п. Бывало ли где и когда-нибудь большее двуличие и бесстыдство?

72. У нас было столько гениальных людей, которым не поставлено ни знака, ни памятника. И был один человек, которому памятников стояло столько, что из них можно было собрать целый полк или колхоз, возможно, и не один. На «жизнь» каждого такого памятника государство тратило значительно больше средств чем на жизнь рядового колхозника. Вот они: мёртвые-вечно живые и живые – вечно полумёртвые.

73. Все больше боюсь поздней осени в деревне. Все умерли, все гибнет, земля наша мертвеет. Поля уходят в зиму, в безнадёжье. В тёмные ночи по пустым дорогам и заброшенным деревням бродит как голодный волк последний колхозник – ищет где что недоукрадено, недоразграблено, не догнило... Скоро и воровать будет нечего, и он умрёт как все его одногодки. А землю купит московский аферист, перепродадут её раз пять, и в конце концов появится в этом колхозе какой-нибудь заграничный хозяин, посеет тут лён и будет нам втридорога продавать «голландское» полотно.

74. Мой дед искал места, выкапывал и рубил колодцы. Отец чистил и ремонтировал эти колодцы. Я уже ничего не делаю, а только смотрю, как колодцы разрушаются, приходят в запустение... А сын мой боится и пить из этих колодцев, говорит, что вода там стоит в грязи и можно отравиться, нынешние молодые часто самую землю называют грязью.

75. Водопровод отнял у нас любовь к родникам и колодцам, машины – к лошадям, марксизм – к Богу, коллективное хозяйство – к частному, «всеобщая грамотность» – к культуре... И этим путём наши гегемоны хотели привести нас в «светлое счастливое будущее».

Самое грустное в этом – мы всегда думали, что они нас куда-то ведут. А они никуда не вели. Они просто переделывали нас в однородную серую покорную массу.

Надо наконец избавиться от этого стадного чувства, что куда-то нас надо вести.

76. Всё короче, всё временнее, чем мы думаем. Мы жизнь свою продолжаем, длим, а кто-то с другого конца её невидимо укорачивает. И если бы однажды увидеть остаток своей жизни, то можно только ахнуть.

77. Сегодняшнему человеку легко жить, ибо он ещё не очень верит в Бога, не догадывается, что Земля или Кто-то в мире имеет память, следит за нами и всё помнит. А если есть эта Память, то по-прежнему жить нельзя.

78. Ясные дни осени в глубоких лесах имеют особую прелесть. Мороз, иней, утреннее солнце. Берёзы стоят: одни голые, другие ещё не облетели – будто обсыпаны карасиной чешуей, склонились над самой водой безымянного озера. Высокие травы желты, почти бестелесны – так легки и покорны. Как во сне всюду опадают листья. Ещё растут грибы, но людей не видно. В такие дни над лесами свободно кочуют птицы: сороки, сойки, вороны; с какой-то поспешной деловитостью летят в одну сторону тетерева – чёрные, сосредоточенные, будто птичьи монахи.

Стоишь на краю поляны, и не верится, что мир подошёл уже к какой-то роковой грани своего бытия, что он изверился, износился, устал от бесконечной погони в безумном соревновании. И даже мысленно не хочется возвращаться в эту вечную лживую суету, от которой мало общего счастья, но много бед и страданий.

79. Сегодня былой России нигде нет: ни за границей в сообществе эмигрантов, ни здесь, в забытых русских полях, ни в кипучих, думских заседаниях, ни в казачьих кругах, сходах... Мы её мучительно ищем, нам невозможно потерять её облик, её свободу, размах и раздолье и то особое обаяние ею, упоение её воздухом, песнями, православным простосердечием и отзывчивостью, её многовековым укладом жизни... Но век ушёл, и остались о той жизни только воспоминания. Свершились не только утеря, но – и преображение. Определить точные координаты в этой стихии преображения всей нашей жизни и есть боль времени.

80. Я стоял в лесу на голой просеке, и вдруг неспешно пошёл первый снег. От неожиданности растерялся, будто опоздал куда-то... А снег всё прибывает, копится, и преобразается всё вокруг. И я сменил все свои планы – понуро побрёл домой. Шёл, будто возвращался из одной жизни в другую. Всегда грустно перевернуть еще один лист своей жизни.

81. Весело идти по полям, перелескам, когда первый мороз стукнет лужицы, грязи, болота. Вся земля враз становится твёрдой, проходимой сухой и лёгкой, иди напрямик куда хочешь, нет тебе никаких препятствий, даже птицы в такое время летают оживлённее, смелее, будто и им хочется оглядеть всю округу до первого снега.

82. Каждый год 7 ноября они обращались к нам: «Трудящиеся Советского Союза!..» Сгрудившись на гробу своего идола, который нигде и никогда не трудился ни для нас, ни для своей родины, они как бы от его имени вооружали нас новыми планами на труд. Мы для них и были всего лишь «трудящиеся». Слово это для них не имело единственного числа. «Народ, трудящиеся» понималось как лес, заросли, неистребимая сила... Одним словом – «много» и можно не жалеть, не считать, не одевать, не кормить. Но два раза в году им как воздух нужен был одобрительный гул этих трудящихся, неистовый шум, как шум леса во время бури. Наслушавшись, они, как престарелые опоссумы, расползались по своим норам и дремали там до весны, и каждому снился свой коммунистический сон, в котором он, наконец, обретал покой, славу, вечные почести, как обещал вождь. Видимо, в этом умопомрачении они и умерли один за другим, не оставив в память о себе ничего кроме лжи и фарисейства.

Кто не видел всего этого, то и не надо. А мне довелось 7-го ноября 1967 года шествовать по красной площади в ряду демонстрантов, мы показывали мощь советской власти в её 50-летний юбилей. Было холодно, над Александровским садом кружило вороньё, поднятое юбилейным залпом. Шли все время на рысях, и редко кто из нас ухитрялся выпить и закутить на ходу. Мимо Исторического музея, подгоняемые милицией, бежали бегом. Выбежали на Красную площадь и перевели дух. Я, дремучий лесной человек, глянул на мавзолей – там стояли ОНИ! Будто лесные зверьки из-за бревна они выглядывали из-за мраморного парапета, изучали нас. Ах, какие у них были лица-маски! Актеры наших театров иногда обижаются, что мы мало ходим в театр. Но разве сравнится хоть одна пьеса с той, что игралась ежегодно в октябрьские и первомайские праздники на Красной площади? Это были спектакли двойного действия: играли на сцене (на трибуне) и в зале (Красной площади) – одни немо, другие с криками «Ура»!

И по сей день эти кинодокументы смотрятся как чудо. Вот они стоят и смотрят на «трудящихся», им смертельно скучно, но на лицах выражение мужества и преданности (конечно делу партии). И вот по одному, не часто (чтобы не было заметно) уходят куда-то вниз, вроде как бы в туалет. Потом появляется прибодренный один, другой... Конечно, коньяк он хорошо греет в промозглое революционное утро. Стоят они плотно, плечо к плечу, как бы держат друг друга: вдруг кого-то поведет. А шляпы-то, шляпы как на них сидят: будто прибитые гвоздями к деревянным головам!

Ах, что думали они, эти головы, в те торжественные для отечества минуты, что чувствовали на самом деле? Как жаль, что этого мы никогда не узнаем. Ни один из них не оставил и, видимо, не оставит истинных откровенных признаний, воспоминаний. А какая бы это была ценность!

83. Ноябрь. Промерзают болота, к лесным поселкам подступает стужа. Глохнет, цепенеет округа, сжимается и сама жизнь людей: они вяло работают, пьют, раз в неделю ходят в баню, в выходной на рыбалку или на охоту и почти никогда – в библиотеку. Раз в месяц ездят в райцентр – в военкомат, в больницу, суд... И так течет неспешно жизнь всю долгую зиму

из года в год почти у 70 % населения страны и по сей день. Об этой истинной жизни народа не знает примерно 70 % москвичей, которые все пытаются спрогнозировать экономическое развитие и политическую обстановку в стране. Жителям Москвы и в голову не приходит, что и по сей день эти 70 % российских провинциалов работают в три раза больше чем они москвичи, а получают в три раза меньше. И не бастуют, не спиваются, не стоят у магазинов и на паперти с протянутой рукой, прося милостыню. К ним не доходила и не доходит никакая гуманитарная помощь, и они не жалуются, не выступают на всю страну по телевидению. Они работают, терпят, ждут... А чего, и сами не знают. О них забыли ещё в 1917 году и не хотят, не желают вспоминать и по сей день. Вспоминают время от времени только военкоматы да налоговая инспекция. Потому как они – «трудящиеся», их много, они как лес, а в лесу надо иногда собирать урожай.

B Poems

B

Осень. Какает тонами лодку у берега, Озеро
Вокруг ^{и души} шумит ^{шумит} парками
Хорошо, взошло. Дубовый лес. Где летел на воду. "и
в лодке" ^{полюбилась} ^{первый} ^{места}. Канал каменное - приехал после
схватывала ^{дурно} мне, в детстве в ^{тех} ^{этом} дубовых
гребешках ^{гребках} ^{тогда}, в детстве. Я думаю,
это никогда не забуду. Из них, и ^{первые} ^{приезды}
мы то
"вдвинулись" и
Теперь же ^{уверен} ^{он} ^{бу} ^{отходил} ^{обратно}
"выбранный" ^{розы} ^{то} ^{те} ^{дня}; ^{кажется}, ^{только}
Там ^и ^{было} ^{сладко} ^{ближе} ^{всего}. Так близко,
как не было ^{уже} ^{никогда}. Ви ^{было} ^{свое} ^и
дурно, и ^{сердце} ^и ^{утра} ^и ^{старые} ^{руф} ^{на} ^{коленях}...
Вспомню ко всему этому еще ^{мне} ^{впереди} ^{кого}
рае, и вы ^{уверен}, ^{обработавшись} ^{состоялся} [Ну вот -
пора ^{уже} ^{состоялся}; ^{просила} ^{кто-кто}, ^{спешит},
губками, ^{бу} ^{больших} ^{достоверный}, ^с ^{большими}
поверен и ^{привалом}. И ^{ви} ^{добрее}, ^{добрее}...
И не ^{осаждает}, не ^{вернуть} ^{той} ^{моделью}
того ^{неспокойно} ^{времени} ^{под} ^{однажды} ^{пока}
живание ^{лодки}, - ^{будет} ^{будет} ^{таблицы} ^{большая}
заводных на ^{сервисе}. ^{Большинство} ^{таблиц} ^{большая}
нее", ^{надежнее} ^и ^{как-то} ^{спокойнее} - ^{мне} ^{всегда} ^{так}
кофеет. 8.

84. Судьба Земли в руках государств, судьба человека в руках страны. Быть счастливым в несчастной родине – подло, а быть счастливым без родины... Всякий ли на это решится? А земные глашатаи пьяны, корыстны, слабоумны. Должны быть истинные отцы мира. Они есть и проникают судьбы и время. Они говорят, а мы не слушаем; они умирают, и мы их не вспоминаем. Живем по-прежнему.

85. Осенью, когда птицы собираются в огромные стаи, человеку становится как-то одиноко и грустно. И он не всегда может ответить – почему. Может потому, что их, птиц, много, а человек остается на всю зиму один. Ведь человек всегда одинок. Даже если и из квартиры, пусть и временно, но все враз уезжают, а один кто-то остается – ему невыразимо грустно. Ощущение пустоты не проходит сутки, двое... Видимо, нарушается какой-то энергетический баланс, и нужно время, чтобы все «рассосалось», выровнялось, пришло в равновесие. Даже дом, оставаясь один, как будто тоскует долгими осенними ночами.

86. Ходит и ходит вор в мой деревенский дом. Более десяти лет ходит. Уж все в доме изучил лучше меня, знает, что украл, а что я сам увез или припрятал. Но все ходит: не забуду ли я чего такого, что ему очень понравится. Но я оставляю только то, что он давно не берет. Не может же он взять, например, мою охотничью шапку – вдруг встретимся, и я узнаю. В деревне, не в городе, не спрячешься. Я уже привык к нему и даже рад по весне, когда узнаю, что был именно он: чужой начнет искать «золото» заново, переломает все, перевернет весь дом...

Не могу только привыкнуть к тому, что он знает меня в лицо, а я его нет. Может встречаемся, разговариваем, закуриваем вместе... Я знаю, он курит, и оставляю ему в доме сигареты и пепельницу рядом. И он всегда покурит наедине, но сигареты все не берет.

Примерно такая же картина вырисовывается и в государстве нашем. И я все чаще с тревогой думаю: «А что если мы все привыкнем к постоянному воровству, свикнемся как я? Что будет?...»

87. Осенью земля сирота. И всюду одиночество. Лес, река, поле – живут каждый сам по себе, каждый наособицу. И человек замыкается в себе. Все готовится в зиму как в плавание. Надо одолеть это снежное море, пройти сквозь стужи, глухие темные ночи, чтобы в марте вынырнуть как из глубины навстречу свету и солнцу.

88. Весной возле самого леса скопилась снеговая лужица. Вернулся на родину куличок, отдохнул тут, попил снеговой водички и полетел дальше. А лужица прогрелась, постепенно вода ушла, осталась низинка, а в ней появилась первая зелёная травка. Ночью прискакал заяц и отведал первой луговой зелени.

Летом вышла из зеленого леса лосиха с лосёнком, и пока она оглядывала поле, готовясь перейти его безопасно, лосёнок тоже пощипал сочной травы из этой низинки.

А пришла осень – на дне низинки вырос крепкий гриб подберезовик. Но никто его не нашёл, и он долго стоял как богатырь среди равнины – будто всё дивился на человеческую невнимательность. Так тут он и сгинул в одиночестве.

Потом выпал снег, всё сравнялось, стало как белый чистый лист бумаги до новой весны.

89. Двое суток живу в чужой бане. Пришёл охотиться, но друга нет, дом да замке, и я поселялся в бане. Утка летит где-то стороной, на озёрах пусто, да и какая это охота, если лесные прибрежья весь день ауют грибниками. Прёт крепкий белоснежный боровик. Набрал и я, высушил в банной печи, используя вместо противня старую банку из-под селедки иваси. Собираюсь домой, радуюсь, что лёгок стал рюкзак: сухие грибы не много тянут. Три румяных яблочка на вершине яблони остаются в зиму, вглядываюсь – они как три огонька на мачте теплохода. «До новой весны, как до новой навигации», – говорю я мысленно оставшемуся зимовать моему недолгому пристанищу. И, ухожу в поле.

90. Ночью выпал первый мокрый снег. И багряные леса отяжелели от белого груза, редкая и радостная картина. Машина летит сквозь этот бело-золотой лес. Мы трое в кабине. Молчим и только смотрим вперёд и по сторонам.

Шофер с Шилекши, о которой я когда-то писал. Вот она тут где-то крадётся через леса к другой реке Черный Лух. С трудом верю, что когда-то с багром, работал на весновке, жил в лесах... Теперь новая дорога – лесной асфальт. Не то, что в былые годы. Но те времена все равно кажутся лучше. Почему нищета вспоминается иногда приятнее богатства? Или и впрямь, счастье не в деньгах?

Стужа полей

1. Когда наступает зима, вся Россия сжимается как перед смертным боем. Цепенеют от страха и деревня и город: как выжить, дотянуть до травы, до солнышка? В любой деревне дрова и хлеб – первая забота.

На дрова воруют друг у друга заборы, а хлеба ждут целую неделю: чёрные промёрзлые буханки везут из райцентра на грузовой машине прямо в кузове завернув в брезент. Километров 50–70 пробивается машина через заносы. И пока она со страданием близится к магазину, со всех сторон плетутся к этому магазину старики и старухи. Эти уж и вовсе по бездорожью: мимо ёлок через овраги и перелески одолевают по пять-семь вёрст. Иначе не выжить. У кого нет сил, лежат на печи. День, два... неделю. Уходит тепло из печи – уходит и из человека. Нынче уж никто кроме воров не придёт, не проведает: все заняты лишь собой, не раз находили замерзшие тела старух на прокалённой морозом родной печи.

А город? Он тоже всю зиму ждёт, когда лопнут под землёй трубы отопления, и начнут копать, искать их. Это уже привычно, редкая зима проходит, чтобы в самое гриппозное время не отключили отопление в целом районе. Сколько надсадных криканий у прохожих, сколько нервных писаний в газеты, жалоб, угроз, увещеваний слышим и видим мы ежезимно (да и летом ещё). И все ищут какое-то загадочное служебное лицо или инстанцию, допускающих головотяпство. А на самом деле всё элементарно и просто. Спросил я как-то старого нижегородского водопроводчика, почему так бестолково ведётся ремонт подземных трубопроводов, есть ли схемы прокладки этих труб по городу, время их заложения и ремонта, материал, толщина, изоляция... И услышал то, о чём грустно догадывался, многие трубы заложены ещё до войны, документации почти никакой не было, а то, что было, утеряно в войну. Лишь несколько старых городских мастеров водопроводчиков знали всё это хозяйство на память и на ощупь. Теперь они вымерли, а молодые копают наугад, вырезают худую часть старой ржавой трубы длиной в три – четыре метра, заменяют её новой и засыпают до зимы. Если взять только центр города с общей длиной отопительных труб в три-четыре километра, то на полную замену этих труб потребуется тысяча лет! Однако будем справедливы, иногда заменяют всё же побольше; метров по десять, по сорок... Но и при таких темпах надо сто лет.

2. Все творения, все дела людей как-то мельчают, тускнеют перед зимой как перед вечностью. Вся наша жизнь будто сжимается, душа забивается в «угол» и скулит жалобно словно собака в худой продувистой конуре. Нам хочется хоть немного сочувствия и добра, хоть немного тепла и неба. Но «унесли» наше тепло небесные птицы, оставили нас одних у пустых рек и лесов. И вот мечется, ищет что-то душа, а чего, и сама не знает. Но будто что ещё помнит... И силится, силится возвратить это утраченное, но не знает, как. Помог бы кто.

3. Если случится в предзимье увидеть последнюю цепь улетающих гусей, невольно остановишься среди поля и провожаешь их как обречённых. Так тяжело, натружено взмахивают они крылами, будто уносят на себе неимоверную тяжесть. Это совсем не то воздушное

шествие первых отлетающих стай: там овладевает тобой лёгкая грусть одиночества, осознание конца лета и жалеешь, вроде бы, самого себя. А здесь – их жаль: долетят ли? Но что значит эта наша жалость к безнадежно отставшим, хоть людям, хоть птицам? Мы даже не спрашиваем причины запоздания, а сразу грустим, расстраиваемся. Видимо, потому, что нарушаются сроки, порядок, гармония – всё то, что заложено в нас заранее, свыше, и мы болезненно воспринимаем нарушение этого порядка и в себе и в мире.

4. У человека ничего нет в этом мире. А если и есть, то оно – вроде бы твоё, а вроде, и не твоё: как метро, поле, лес... А может, ничего и не надо? Жили же наши колхозники полвека без своих полей. Оно, может, ещё и лучше так-то: ни заботы, ни боязни, что украдут или сгниёт, сгорит... Всё вокруг есть (лежит или валяется без присмотра), и всё не твоё. У всех советских людей была особая свобода: свобода от собственности. Мы имели огромную страну, которая принадлежала как бы будущему, но не нам.

Наверное, именно поэтому мы с такой лёгкостью возвратились в христианство: нас не тяготило серебро, которое следовало раздавать нищим.

Мы сами нищие. А серебро, которое всё же было, и которое кремлёвские Плюшкины прятали от народа, растащили во все стороны света. И вовсе не по-христиански.

5. Сейчас идёт ревизия России. Перевернуты все кладовые и сусеки, «перетряхнуты» умы и таланты. По-моему, мы так вывернулись наизнанку перед всем миром, что... даже самим неудобно. Сегодня мы начинаем приписывать себе такие грехи, каких и не было у нас отродясь. Пусть. Пусть думает так тот, кто считает себя безгрешным. А в России идёт первый пост и первая исповедь за весь советский период. Идёт первый смотр умов и талантов – заседания нашей Думы. Идёт ревизия во всём. Надо: на дворе новый век и тысячелетие.

6. Дожили мы до какого-то нового времени: злого, мстительного. От плохой жизни народ делается ещё хуже. Вот где проверка истинной культурности народностей и наций. Обратный путь – от цивилизованного человека до дикаря – удивительно скор, краток, может теперь поймут всё-таки некоторые наши государственные мужи: если у человека уж ничего не осталось на родине, он помнит, к какому народу, к какой культуре принадлежал. И с этого начнёт жить и выживет. И постарается быть достойным своих предков, своей культуры. Культура переживает не только страну, где она появилась, но даже и сам народ, если он исчезает.

7. Если вспоминать всё по порядку из деревенской жизни XX века то сначала плохо делалось жить помещику, потом кулаку, потом крестьянину, потом колхознику, потом лосям, бобрам, соболям, затем волкам, лисам, зайцам. Ещё позднее: белкам, тетеревам, рябчикам; далее – рыбе; за ней – грибам, ягодам, травам, и наконец... коммунистам. И вот они-то, уходя, и говорили об отсутствии эксплуатации в нашей стране. Уходили, дожёвывая последнего рябчика. Неужели они так ничего и не поняли?

8. Россия на перепутье.
Всё в ней истощилось.

Мир оголился, беззащитен от моей избушки над рекой до президентских покоев. Культура всюду почти на нуле. Уже и поэтому трудно ждать разумных государственных решений. А второе – давит, принуждает к безобразиям нищета. Разгул мародёрства – вещественного, природного и культурного – как норма. Все люди будто отравленные, почти все ищут спасительные чистые родники, к которым можно припасть и хоть на короткое время прояснить помутившийся разум. А родники эти тоже иссякают. Без народа, без всей страны и

Москва нынче не выживет. И всё ещё в стране есть, с чего можно налаживать жизнь, но поражает убожество высоких государственных лиц в стране, которые высоки только занимаемой должностью. Воистину Россия на перепутье.

9. Много бед, невзгод, несчастий испытали наши люди в деревнях. Они живут на краю жизни, и двигаться им от беззаконий и жульничества всяких начальников некуда. На лице умного пожилого крестьянина можно прочесть сегодня всю советскую эпоху – истинный клад для портретиста.

10. И до сих пор, когда приходит в наши северные деревни зима, у меня что-то останавливается и тоскливо замирает в душе. Я знаю, сколько одиноких старух по всему русскому северу пускаются (как они говорят) в зиму, будто в тяжкое безбрежное плавание. Почти у всех в самый обрез дров, водоразборная колонка среди деревни в мороз обязательно замерзнет, хлеб в магазин из-за метелей могут не привезти неделю, две, а то и дольше, картошку в подполье прихватит стужей...

И никто не поможет – ни колхоз-совхоз, ни сельсовет... хоть криком кричи, хоть молись, хоть умирай, хорошо, если есть в деревне один путный мужик: за «пол-литру» что-то да сделает. А так – жди смерти, да и рады они ей, её только и ждут.

Сколько я слыхивал от них этих чистосердечных признаний по осени. И никто, ни зверь, ни птица, так не рады весне как они, если удастся перезимовать.

11. Мародёрство, которое точит сегодня как ржавчина и бывший Союз и Россию есть последняя волна большевизма. Большевики и начинали с этого – с разрушения усадеб, имений, монастырей, церквей... Но богатыми не стали. Не разбогатеют и нынешние мародёры, они погибнут, как люди уже погубившие свои души. Падшую душу восстанавливать труднее, чем обворованную дачу, дом, квартиру... Вор и мародёр не имеет ни возможности, ни права на воспоминания, мемуары. Этот опыт хранится в тайне, никому не передаётся и медленно разрушает самого «владельца».

12. Совершенно безразличные к судьбе друг друга мы – не столько современники сколько союзники с разными сроками земного отбывания. Мы слишком большое значение придаем «нашему» времени и по-прежнему верим в «светлое будущее» пусть даже и без нас. Мы разучились ходить в пяту, как говаривали охотники, то есть к своим истокам, вспять истории. Мы уже не живём прошлым, поддавшись лёгкому обману – жить только будущим. Человечество глядит в разные стороны, вернее, глядело всегда. И если совсем не будет тех, кто часто оглядывается назад, мы окончательно потеряем дорогу к дому.

13. Давно уже ложная многозначительность руководителей нашей жизни воспринимается нами как мудрость. На самом деле мы живём в стихии лжемудрецов, лжемастеров, лжепророков... Время крайней неустойчивости, время сбитых центров в народной и государственной жизни, значит пришло время установить (вернуть на место) центр в душе человека.

Ворчит, ворочается в зимнем лесу речка. Парит, поблёскивает среди снегов. И сколько ни стой возле неё на лыжах, сколько ни думай о жизни, а всё равно придёшь в мыслях к весне как к зелёному берегу оставшихся земных дней.

В полупустых деревнях России старики брошены на произвол судьбы. Они живут на таких же правах как воробьи, галки, вороны... Нет никаких властей, призрения, заботы о них. Крестьянство, как класс России, испытало наибольшую эксплуатацию и унижение. Класс этот по сути дела уничтожен, выродился и не подлежит восстановлению. Он просто исчезнет, и на его месте возникнет что-то новое.

И зима стала неинтересной. Раньше, бывало, идёшь в школу через перелески – каких только ни увидишь следов: заяц-беляк, заяц-русак, белочка пробежала от дерева к дереву, тетерев набродил в молодом сосняке; ровной строчкой будто швейная машина прошла по белой холстине поля лиса; рябчик аккуратным крестиком вышел снежное окружье ёлочки, волк размашисто пересёк дорогу... Бывало и самих зверя, птицу увидишь.

А нынче ворона и то редко сядет на дорогу, незачем ей садиться: сено не возят, лошадей нет. Немой лес стоит как забытый среди белых снегов. Только ветер шумит в вершинах, сбивает снег с нагруженных лап. Ушла жизнь не только из деревень, а и из лесов, полей, и вся округа стынет в молчаливом долготерпении – ждёт далёкой весны. На неё одну надежда, на неизменное пока солнечное тепло.

14. Нынешняя зима в России никак не воспевается ни поэтом, ни прозаиком. Никак не вдохновляет зимняя дорога: асфальт, позёмка, твой автомобиль, бегущий мимо свиноферм и силосных сооружений. Хоть деревня, хоть лес – всё, что встретится тебе на дороге – всё вызывает мысль об упадке, разрухе, истощении... Увидишь, наконец, вдали свой город в дыму, копоти, где нечем дышать... И всё-таки-скорее туда в свою квартиру, чтоб не видеть ничего вокруг, спрятаться, забиться в угол на кухне и, минуя грипп, как-нибудь дожить до весны. А зима? А зима для нас так и осталась в стихах Пушкина: «мороз и солнце; день чудесный!..» Лучшего с тех тер ничего так и не было.

15. Россия не знает, как жить. Народ должен сам решить и решится на новую жизнь. Он уже решился, но ему вечно мешают свои и чужие начальники, ну, чужих можно послать на... запад. А вот от своих так легко не отделаться. Их надо воспитывать церковью, школой, литературой. Чтобы они перестали «ложить» своё невежество на страну и народ.

16. Предзимье, срединная Россия, ночной пустынный большак пролёт с севера на юг. Пегие поля в слабом лунном свете, безлюдье. Иду большаком на север, один. На подъёме на самой горбине большака замер оторопевший волк. Остановился и я, гадаю: «Собака? Волк? Пожалуй, он...» Слегка сдвинувшись с большака вправо, где обочиной, где полем иду, как и шёл, на север. Волк тут же «свалился» на другую обочину и тоже шагом, тоже полем пошёл, как и шёл, на юг.

Шли, сторожили друг друга глазами, пока не разминулись. «Хорошо, что волк, а не человек. – радовался я. – С человеком так просто нынче не разойдёшься».

17. Наша родина дорога нам и ненастьями, беспогодьями. Мы не столько радуемся хорошей погоде сколько её предзнаменованиями, предчувствием, ожиданием. Не отсюда ли идёт и наша политическая терпеливость, доходящая порой до овечьей покорности и смирения, иногда мы в этом заходим так далеко, что теряем в глазах мира не только уважение, а и облик нормальных людей. Так было во времена «царствования» К. Черненко, хорошо, что это длилось недолго. Но и по сей день я вспоминаю тот период нашей жизни с каким-то тревожным смущением будто страной правил не Он и не Она, а Оно.

18. Зимы да вёсны мнутся в нашей памяти друг о друга и создают объём жизни, некоторую весомость. А если бы не было у человека памяти, то и величину жизни не мог бы он «взвесить». Наше время – всегда сзади. А то, что впереди, открыто только тем, кто не будет им спекулировать, бахвалиться, угрожать... Конечно, есть люди, которые видят кое-что и в большом времени, но мы их не видим, не слушаем...

19. Никак не доберётся враг до сердца России. Москву может взять, царя убить... а сердце России живо, жива душа народная. И с этого опять всё начинается. И длится так вечно, и всё никак не могут понять предприимчивые иноземцы особой судьбы России, неподвластной их земному уму.

20. Люди на земле живут в разных временах. Время календарное не всегда нас объединяет настолько, как мы думаем. Есть духовные пласты времени, где своя жизнь, свои имена, споры и согласия, свой особый счёт. Приобщение к такому духовному пласту уже само по себе значительно и не случайно. Но кто позван, – тот знает.

21. Видимо «молекулярный» состав России намного сложнее нежели думали о нём большевики, фашисты, кагэбисты и некоторые нынешние лидеры, разрушить и погубить Россию не так-то просто. Видимо, есть в ней некий секрет, который и кувалдой марксизма не расшибёшь, и глуповатым американским кинематографом не соблазнишь, не выведешь...

Мы живём в самом сверкании окаянного времени. Центр жизни сегодня не в ООН и не в русской Государственной Думе, а в православных монастырях.

Судьба Земли не менее интересна чем судьба даже гениального человека: Земля скудеет, болеет, воинствует, расцветает, жиреет... Только время этих перемен растянуто на большие годы, чем наша жизнь, и нам не всё понятно в этой земной жизни. Меняясь, Земля меняет свою силу, которой питает людей, и жизнь людей тоже меняется с большими перепадами. А мы все сваливаем на политиков, царей и президентов, на реформы и революции...

22. Осинный лист упал в озеро, поплавал среди берёзовых и утонул. Потом озеро замёрзло и часть берёзовых листьев впаялась в лёд – будто золотые монеты. Я нашёл это озеро в лесу, лег на лёд и стал глядеть в глубину озера. Увидел и осинный лист на дне, и подводные травы, и как неспешно разгуливают среди трав водяные жучки, рыба мелочь... Даже окунь стоял, прислонясь к коряге. С детства не глядел я так в лесное озеро. Полвека прошло. И вот ничего не изменилось в подводном царстве. Кажется, ничего. Но как много изменилось в моей жизни, да и сам я... «А вдруг кто-то смотрит вот так же на нашу земную жизнь, – думаю себе. – Смотрит сквозь небесный лёд прямо мне в затылок, как я окуну. И ему тоже кажется, что на Земле так же ничего не изменилось за эту полсотню лет, да хоть за пятьсот...»

Перевернувшись на спину, я долго гляжу в чистое предзимнее небо.

23. Время жизни течёт сквозь пальцы будто песок из обеих рук. И человек глядит на этот песок как ребёнок. Сначала интересно, приятно, весело, а потом хватить – и осталось в горстях совсем ничего.

24. При моей жизни опустели деревни, изменились поля, леса, реки... Большинство людей, с которыми я начинал жить, умерло. И никто не сказал, какова будет жизнь дальше. Я думаю, что никто и не знал, не знает. Разве только земля что-то предчувствует. Но как её спросить? И кто её может услышать?

25. К концу века и тысячелетия наша жизнь так торопится, будто «задумала» что. Не все люди успевают измениться, а те, кто меняется на глазах, не успевают забрать из прошлого самое ценное и важное. Идут приобретения, но идут и потери. Всюду: в людях, в природе, в экономике... Необходим какой-то общий умный регулятор. Особенно у нас, в России. Ведь мы так много уже растеряли и растоптали в своих горячих революционных шествиях.

26. Нынешние «молодые штурманы бури» начали с самообогащения. Может, они и правы, но учиться всё-таки надо. Культуру стране добывать труднее чем деньги. И надёжнее: настоящее искусство инфляции не поддается.

27. В России время медлительное. Вся наша общественная жизнь поворачивается настолько неспешно, что терпение народа кончается, и как искры вспыхивают революции. Они нас радуют будто костёр – детей. В революции сгорают все наши страсти, мечты, идеи, и опять мы покорно тянем на пепелище свою извечную лямку. Тянем с прежней безропотностью. Докуда?

28. Самое удивительное то, что никто и не предвидел такого крушения Советского Союза, в которое мы разом вверглись. Вовремя побоялись сломать систему – теперь сломали страну и народ. Если снова выживем, то это будет ещё одно русское чудо, которое поразит и насторожит весь мир. Нас будут уважать за бесстрашие экспериментов над собой во имя благополучия всей земной жизни. Теперь уж у нас выбора нет.

29. Ночь, мороз, снежное поле... Идёшь от деревни до деревни. Никто не встретит тебя, но никто и в дом не пустит. Обессилел ты, обморозился, заболел – «это твои проблемы» – сегодня ответит тебе так любая деревенская старуха из-за дверей. В последние годы она прошла современный телевизионный ликбез, вяве испытала грабёж и по-своему перестроилась, перешла на цивилизованные отношения.

И это в центре России, на земле древних оживлённых трактов, где каждого ночного гостя грех было не пустить на ночлег, не обогреть и накормить, не дать добрый совет.

«Любите друг друга», – завещано нам почти две тысячи лет назад.

«Любим...» Взаимно.

30. В стране развалины «коммунизма».

В стране больные коммунисты.

В стране очумевшая молодёжь.

В стране ещё не столько что-то создается, сколько всё разваливается, рушится. В стране нет никаких планов, ориентиров, направлений. Стране нужен товар, продукция, но все люди делают только деньги. Все ищут справедливость, и все обманывают; все критикуют, но никто не принимает критики; все призывают к гуманности и все жестоки. Все хотят выжить, но за счёт кого-то или чего-то... Все всё понимают, но поступают вопреки разума.

Что же происходит?

31. Большевики-коммунисты нарушили целостность мира. Не думаю, чтобы они об этом не догадывались, но не придавали серьёзного значения последствиям. Они заставили нас жить в трёх временах: прошлом (проклятом), настоящем (лучшем) и будущем (сияющем). Они незаметно убрали (украли у нас) главное время жизни – Вечность. Но Вечность скрыть невозможно. Она сама их и съела, источила как ржавчина.

32. У большинства русских людей христианство всегда как бы в запасе, отложено на «потом», на более поздние времена. Всякий считает себя верующим, но – погоды, а пока некогда. Никто и не гонит, но жизнь убывает быстрее нежели мы рассчитываем. Многие оправдывают своё нерадение былой атеистической пропагандой свирепых совпарторганов. Но если говорить честно, у них была слабая на этот счёт и наука и пропаганда. И кадры в этой области работали туповатые. Но за спиной у них стояли «искусствоведы в штатском»,

и у каждого за пазухой – топор. Сколько они убили невинных братьев – это известно, разве, только на небесах. Сами они не считали. Тут сокрыта от нашего взора целая страница русской истории, и если не знать её, то не понять судьбы православной России и её отуманенных христиан.

33. Разбрелись дороги по России. И в любую сторону – как в неведомую страну. Куда ни двинешься – всюду тебя ждут неожиданности и открытия. Вернуться домой из России нам порой труднее нежели европейцу из-за границы.

34. Средине России, зимнее морозное утро.

На опушке бросового леса сидит, раздувшись от холода, ворона. Лес дрянной – берёзки, осинник – забрёл уже далеко в поле, подбирается к пустой покинутой деревушке. Для меня это уже история: когда-то росли тут старые берёзы, на них сидели тетерева, а в деревне в двухэтажном купеческом особняке была контора сельсовета. Потом берёзы срубили, землю распахали, засыпали химикатами, и тетерева сгинули как то купеческое семейство из дома. Потом изгнали из этого дома и сельсовет, а сам дом разломали, растащили как двойного классового врага. Поле вновь стало зарастать лесом...

И вот сидит ворона на молодой уже, новой берёзе (на прежнем тетеревином месте) глядит на полуразрушенный особняк и будто что вспоминает своей серой «комбедовской» головой.

Над пустыми белыми полями восходит солнце. Можно бы поорать, похвалится победно на всю округу. Но ворона не решается. Она видит меня одинокого в поле, и я её вижу. И никого больше нет.

Мороз, зима, середина России. И мы оба в нерешительности: куда улететь, куца идти – оба не знаем.

35. Россия выше и величавее Царя, Ленина, Президента... Больше их, значительнее – такое чувство должно зародиться нынче в душе у каждого, кто остался в России. Её почти полностью вычистили нынче (ограбили) свои и чужие, довели до крайнего унижения. Но какой-то ген прежнего величия ещё остался – не вывезли за границу, не уничтожили окончательно в лагерях, на войнах, в морах, в полях... На нас нынешних лежит великая миссия: переварить, простить и где можно, примирить царское и большевицкое, зарубежное и лагерное, духовное и материальное – всё русское, российское, всё наше, своё. Таких завалов, заторов история ещё не скапливала ни для одного поколения России. Ну уж достанется! И конечно, не «новым русским», а «новым-новым», которые научатся не только считать, а нормально говорить и писать по-русски.

Вся нынешняя чехарда вокруг Думы, Правительства, Президента – это примерка сил, детская игра со смертельным исходом для одних и торжеством вечно гонимой правды. Сейчас привлекает всех экономическое, поле борьбы, но важнее – поле духовное. Народ, а точнее остатки народа, должны воспрянуть и сами сохранить свою землю, не оглядываясь больше на Кремль. Настало время ощутить своё величие не царю, не генсеку партии и не президенту, а самому народу, каждой отдельной личности. Иначе всё пропало.

36. Сказать «моя Россия» всегда легче, чем «я твой, Россия». Тут проходит водораздел: господин отечества и слуга отечества. Лучше быть слугой у сильного отечества нежели господином у отечества умирающего. Слуг помнит народ, а господа сами записывают себя в историю. Но и в Истории последнее слово принадлежит народу.

37. Над рекой гора, по верху горы дорога, над дорогой небо, в небе летят гуси. Весной – на север, осенью – вниз по реке. И люди идут в обе стороны над рекой по дороге. Но дальше сельсовета в одну сторону и дальше собственного дома – в другую не ходят. И так много десятилетий много поколений мотаются туда-сюда, разогнувшись от полевых или домашних работ. Река, дорога и небо для них есть свобода, иной они не знали, не видели.

И вот однажды их пригласили голосовать, и они проголосовали за Жириновского к удивлению Черномырдина. Почему? Потому что Жириновский в их жизни первый человек, который чувствует себя свободно даже в Кремле. Они и проголосовали за свободу, о которой всё твердят им на все лады, а землю не дают.

38. Мы изнасилованы вождями, развращены пролетарскими «гениями», отравлены опиумом марксистской философии... Мы перестали доверять своему уму, чувствам, совести, своей силе, умению. Чтобы излечиться от всего этого, надо бросить всякую высокую идейность, не искать среди политиков нового гения, не переживать за весь мир. Надо просто пожить нормально, заботясь только о хлебе, о земле, о своём доме, избавить себя и детей от забот об авторитете очередного вождя. Даже памятники всем этим «гениям» не трогать пока: пусть стоят обездоленно среди нас обворованных и оборванных, пусть «поглядят»; придёт время – и они сами своим революционным шагом уйдут в музей.

39. Приволье России загоняется куда-то в неудобь, окружается цивилизацией и хиреет, истощается.

Сегодня уже не сыщешь тихих речных плёсов в старых лесах, где с пёрволедьем выходили из глубин на пологие белые пески косяки чёрных с прозеленью налимов. Стояли неогороженными стожки сена.

Именно в таких лесах были отлаженные тетеревиные перелёты над рекой, Хорошо знали это и рыбак и охотник, без нужды не бродили и не стреляли тут, а ходили скрытно от зверя и птицы – добывали себе радость и пропитание. Дичи же год от года не только не убывало, а накапливалось всё больше безо всякой охраны и инспекции. А сейчас всё наоборот: всякие запреты природу «охраняют», а дичь шарахается, жмётся от людей в глубины лесов, болот, в буреломы и гари и отсиживается там как в тюрьме.

40. Человек меняет природу, думает, что в лучшую сторону, но и природа меняет человека, и человек опять думает – тоже в лучшую сторону. А в результате жизнь становится всё хуже и виноват в этом кто-то третий – опять думает человек. Когда будет совсем плохо, он скажет: виноват Бог.

Заблудились мы в трёх понятиях: человек, природа, Бог, как в трёх соснах, и не видим выхода.

41. Земная жизнь, конечно, и не очень интересна. Капризы плоти замучивают человека, делают из него работника, раба. В конце концов человек должен куда-то уходить. И в этом нет ничего страшного: если человек не становится совершенным, то мир должен иметь несколько степеней совершенства и переход через их границы не должен быть беспорядочным. Мы слишком много думаем о земных границах и совсем не думаем о границах небесных.

42. Россия не столько себя знает, сколько чувствует. А надо и звать. Прежде всего свою историю, а второе – день сегодняшний и окружающий мир, чтобы сравнивать. Если вооружить только этим сегодняшних людей России – завтра они сделает то, о чём и не подозревает

никто. Информация, отнятая у Россия коммунистами, превратилась в страшное оружие. Это оружие чуть не погубило нашу страну.

43. Нынче склонившаяся над речкой однобокая ива – счастливое дерево: весенней ночью поёт на ней соловей; летним утром затаится под ней рыбак над удочкой, а в полдень, прячась от жары, приплывут к ней окуни и язи. Наступит осень – каждый опавший с неё лист поплывёт как золотая лодочка вниз, сопровождаемый рыбьей мелочью. А зимой? Зимой её и вовсе никто не обидит. Занесёт её снегом на пустынном берегу, и ни топор ни пила её не тронут: ни дров от неё, ни изделия какого путного не добыть. Так и стоит она над рекой год за годом одинокая, но счастливая.

44. Белый снег, чёрный тал у самой реки. Тишина, солнце. И среди чернотала белая куропатка белее самого снега. Смотрит на меня, стоящего на лыжах, и как вспышка взрывается с плеском крыльев в снежном облаке, пронизанном солнцем. Такой запомнилась мне зима 1966 года. Не было бы этой куропатки – ничего бы не осталось в памяти: ни года, ни зимы, ни себя стоящего на лыжах. Ничего и не осталось больше. А ведь я работал тогда в затоне: около сотни различных судов было на ремонте, не одна сотня людей и дел «проходили» через меня в ту зиму. Но всё смешалось, потускнело, ушло куда-то в даль времени как отшумевший базар... А та снежно-белая вспышка «взорвавшейся» куропатки как мгновенная фотография отразилась в мозгу и осталась навсегда. Но почему, до сих пор не могу понять?

45. Человек проходит сквозь воздух, солнечный свет, траву, воду – проходит сквозь лето. Потом сквозь непогоду: дожди, туман, снег... и уходит в землю. Но зачем надо всё это проходить? Кому это нужно: самому человеку или ещё кому-то? Да и это ли главное? Главное – через что проходит душа? Но души материалисты в человеке не нашли.

46. Поколение за поколением люди как волны накатывают на Землю и уходят. И вот за это короткое время одному из людей вдруг становится «ясно», что жизнь на Земле устроена не так, и надо её переделать. Он начинает своё революционное переустройство Земли будто собрался жить вечно и будто до него все были слабы умом. Удивительно живуч этот тип людей, которых при жизни плебеи именуют гениями, а их внуки уже проклинают. Такое в истории разных стран и народов повторялось не однажды. И видимо, будет повторяться.

47. Подумать только: древность уходит в другую древность, а та – в третью. И так далеко-далеко от наших дней. А земля под нами всё та же. Травы, леса, животные на ней не столько менялись сколько сменялись, одно поколение другим. И человек так же. Он мало изменился, и не во всём в лучшую сторону. Однако уверен, что время, в которое он живёт, достигло совершенства. А значит, и сам он – один из совершеннейших. Заблуждение, каких много поглотила земля.

48. А может, это только кажется, что Россией кто-то управляет. Может, судьба её больше зависит от поведения народа, а не правителя. Уж не управляет ли сам народ своим царём а через него и своей жизнью? А тому, кто правит, только кажется, что он правит, царствует; на самом же деле – исполняет волю народа.

49. Все мои современники, – президенты, главы правительств, министры – не так уж много и видели, не так уж много и знают, понимают, чтобы управлять страной, каким-то блоком, частью земного дара. Они не знают «устройства» своих стран, земли; не ведают

времени вне времени своей жизни. Они далеко не совершенные люди, и часто случайные на королевском троне, президентском посту... Я просто – большинству из них не верю, не доверяю в управлении моей Землёй, которая принадлежит мне не меньше чем им.

50. О, грозный мир! Конец века шумит в берёзах над моим домом, а не просто ветер. Конец тысячелетия свистит над нищей Россией – вычищает поля, леса, человеческие души – готовит к чему-то земли, воды, народы. Страшно на перекате тысячелетий. Страшно малому и великому. Душа сжимается и цепенеет, тоскует как перед страшным судом. Пришла пора жить по большому календарю, а не по красно-советскому. Но как «растянуть» душу на этот календарь? Хватит ли духу?

51. Давно в моём доме не поёт петух. Как погас родительский очаг, смолк и петушиный голос. Теперь дом похож на глухонемого: время ещё идёт, но идёт молча. Поэтому, когда живу в своём доме, люблю заводить звонок будильника на самый ранний утренний час. Завожу даже тогда, если и идти никуда не собираюсь. И вот заорёт он в неурочный час – выбегу я босиком на улицу, гляну на погоду и скорее опять на печь... Вслух ругаю стронувшийся будильник, а сам рад: кто-то должен в доме «сторожить» время.

52. Земля и небо живут по своим общим законам. Их взаимодействие – тайна для человека, одновременно опора, радость и скорбь. Старая берёза возле дома живёт сразу землёй и небом, она пожизненно чувствует то и другое и бережёт человека сверху и снизу, хотя он этого и не чувствует. Человек занят собой, личными делами, и считает, что всё зависит только от него: и дом, и берёза, хорошо ему в своём неведении и далеко ещё до неба.

53. Всё выше деревья вокруг моего деревенского дома и всё меньше соседей: деревья растут, а соседи вымирают. И всё больше людей приезжает в мой дом, не зная ни одного соседа, ни одного дерева.

54. Зимой глядишь из окна в сад, и кажется: яблоня всю зиму думает, какой величины будут у неё в это лето яблоки и как ей вынести, груз этих яблок... «Всю жизнь с ношей кроме зимы. А зимой с бесконечной думой, как я...» – думаю, глядя на неё из окна.

55. В жизни есть две свободы: земная и небесная. Земная трудна и коротка, а небесная – призрачна, далека. Соединить их трудно, от одной надо отказываться. А вот от какой отказаться – в этом весь человек.

56. Живёт в деревне мужик. Сад у него – три яблони перед окнами, лоскут земли на задворках (под вечную картошку), дети в городе и жена на погосте. Хлеб в деревенский магазин привозят раз в неделю – сбродит, выкупит свою норму, и свободен. Висит ружьё в чулане, но оно ему не нужно, потому что дичи давно в округе нет. Есть и всевозможные снасти для рыбной ловли, а на реку тоже не ходит: рыба «государственная» и частнику ловить запрещено. Помоложе был – ходил, а теперь бросил: ноги стали не те, от рыбнадзора не убежишь.

Ночи зимой долгие, что делать? Стащит гармонь с полатей (осталась от молодости) и вот играет, наявливает перед топящейся раскрытой печкой, а потом запоёт с тоской и удалью как в парнях:

Ты играй, гармонь моя, – золотые планочки,
Отшумели навсегда весёлые гуляночки...

Зимой, не летом – можно: рамы двойные, на улицу не слышно, никому не помешаешь. Напоётся, прикроет трубу и в слезах ложится спать, ни на что уже не надеясь. Ворочается, мочит подушку слезами и повторяет только одно: «Господи, за что, за что?..»

57. Нищие люди в нищей стране – наследники великой культуры, великих научных открытий. Унижение и гордость, действительность и память о прошлом... Что из всего этого выйдет? Более всего нынче нужна наука о выживании как отдельной личности, так и всей страны. Все возможные ресурсы жизни в стране уже исчерпаны. Мы тянем на последнем «вечном двигателе» – бесконечном терпении русского мужика. А это уже – как полёт во сне.

58. Есть Земля и Человек на ней, а выше – Небо. Стоит человек между землёй и небом. Но между человеком и небом так много препятствий, так труден путь к небу. Жаль человека: мечется он душой между землёй и небом, а сам всё земным властям угождает, а более того – свой дом, огород ухаживает или деньги, наряды копит... Рвётся, бьётся всю жизнь и никак не выйдет победителем: деньги прибывают, а жизнь убывает.

59. Всякий человек думает, что живёт в лучшей стране на лучшем отрезке истории. Во всяком случае смолodu в этом убеждены все, потому что очень хочется... На слепом патриотизме молодых иногда крепко играют политики – патриоты своих идей и жён. Прижизненное разоблачение таких «патриотов» происходит редко, особенно у нас в России. И зря. А другая несправедливость кроется в том, что правитель за плохую работу не получает никакого наказания.

60. Русский солдат в 1945 году одержал великую победу. Вернулся домой и вот уже более полувека терпит поражение за поражением в мирной жизни. Терпит, всё говорит о победе в 1945 году, а живёт всё хуже и хуже. И никак не может понять, что происходит с ним и со страной. И не поймёт никогда: слишком великая ноша выделена ему историей, и вынести её у него просто не хватит сил. Иными словами – в мирной жизни он уже не воин. Винить его за это нельзя, поддержать некому, а учить уже поздно.

Но не поздно обо всём этом подумать нам.

61. Стоит в овраге старая сосна – однобокая, с обвислыми лапами, овраг – заброшенное место деревни: бросают туда сучья, старую картофельную ботву, рваные сапоги, битое стекло, банки... Бросает уже не одно поколение деревенских людей; бросали ещё при царе, потом в революцию, в обе войны, бросают и сейчас... Никто в этот овраг не ходит, никто не интересуется, что там.

И вот неприметная сосна взматерела, пережила всех и всё и стоит по-прежнему крепко хотя и неказисто она – как сама история России многое «помнит», да её никто не спрашивает. Уцелели ещё и люди по России, подобные этой сосне. Их тоже очень мало уже. И живут они тоже где-нибудь «по оврагам», на отшибе, почти на свалке.

Но мы не видим их: отнято у нас былое зрение. Хорошо, хоть сосны замечаем ещё.

Истоки дней и рек наших или воспоминания о Волге (Речные думы)

Текущее лето

И понесло однажды меня, речного человека, сухим путём на север, к истоку Волги.

Шёл я лесной дорогой сзади всех, толпа уже выходила на простор, на луговину, а я всё никак не мог понять, осознать до конца, что вот тут и будет сейчас самое начало Волги, её исток. Ещё высвистывали лесные птицы в вершинах, верещала иволга, из деревни Волговерховье уже доносился крик петуха. Миновали мы луговину, потом дорога пошла под уклон, а никакой реки видно не было.

Из болот она истекает Волга-матушка, потому и не видно: ольха, березняк, ельничек, ивняк среди осоки, торфяная стоячая вода цвета крепкого чаю. В одном месте бьёт ключик со дна – вот это место и огородили круглой беседкой с крышей и крестиком на верху, мостки перекинули сюда с берега: заходи, любуйся, думай...

Думай, не думай, а представить весь путь воды до Астрахани, где я в юности проходил речную практику, у меня не хватило ни памяти, ни воображения. Огляделся я: семь домишек насчитал в деревне, магазинчик, две церкви (деревянная и каменная) стоят среди берёз и елей на взлобке. Все так просто, бедно и незащищено, что невольно сжалось сердце: в великой простоте и бедности рождаются у нас великие и люди, и реки. И невольно пришла мысль о полной незащищённости не только России, а и всего Мира.

Деревня Волговерховье захолустная, вымирающая. В том, 1989-м году приехали на исток Волги люди со всей нашей великой страны, были иностранцы и, конечно, заходили в сельмаг, брали воду, пиво, водку, что-то привезли с собой...

Стояла жара, 22-е июня, обедали прямо на лужайке. Местные жители выходили из домов, ждали поодаль, потом подбирали бутылки, женщины кланялись и смущённо оправдывались: «Спасибо, что приехали, а то ведь у нас никакого заработка нет». И было как-то неловко, больно и обидно...

Самую Волгу, где она истекла из болотины, можно перепрыгнуть, что и сделал один разгоряченный иностранец. Ему что, развлечение. Хотел и я, но – что-то остановило меня: ведь не будешь же перепрыгивать через родную мать, Волга все-таки, а я речник.

Земля тут перед огромным болотистым пространством выпирает горбиной. Удивительное место: вода прёт из-под земли даже на пригорке, где ни ступишь всюду сочтётся. Высота 228 метров над уровнем моря, и этого вполне хватает, чтобы река пробежала по земле три с половиной тысячи километров и достигла Каспия.

Автобусы до самого истока не доезжают. И не только из-за дороги, сырой местности. Так лучше: около часа идёшь лесной дорогой, и есть время подумать, отмякнуть душой и телом. И туда и обратно так.

Было за полночь, но по-прежнему жарко, душно, и почему-то усиленно кричал коростель. Обычно он дёргает ввечеру, при спаде жары, а тут днем, при ярком солнце и безветрии. Я отнёс это к сырým лугам.

Но вот от горизонта стали вылезать тучи, сгущаться над всем этим холмом, подул ветер. А когда мы сели в автобус и полетели по шоссе, вдруг обрушился такой ливень, что водитель был вынужден остановить «Икарус». Почему-то многих уже сморил сон, дорога вмиг превратилась в реку. Тут я вспомнил коростеля, почему он кричал, вспомнил свои луга, детство, ночное у реки, сонные всхлипы воды, когда обрушивался в темноте подмытый яр. То были истоки моих дней на реке, которая текла вот в эту самую Волгу. С тех пор не только

детство, а целая жизнь прошла. Работал я на реках и на море, а вот так, когда детская душа сидит как бы в обнимку с душой реки у ночного костра, и никого больше нет... Такого, вроде, и не бывало у меня с детства до сегодня. Эта великая простота, в какой зачинается Волга, как-то покорила меня, смягчила, сделала податливыми как воск все чувства. Двадцатилетним попал я в Астрахань, в устье Волги, всю молодость провёл на реке и только пятидесятилетним добрался до истока Волги. И только здесь подумал о том, что все реки начинаются в низинных болотах или высоко в горах. Мы не знаем, где нам суждено родиться и прожить жизнь, у какой реки или моря. Но от рек как от родителей не отказываются. Река живёт и меняется вместе с нами. Она часть нашей жизни с детства и до последнего часа.

Многие племена и народы и по сей день считают реку живым существом. Истоки рек обычно удалены, труднодоступны, малопривлекательны и потому по-настоящему не изучаются. Кажется, моря изучены больше. А зря. А может, и не зря: когда человечество перероет, испохабит всю землю и начнёт вымирать от неуважения к земле, в недоступных болотах и горах сохранятся семена здоровых растений река разнесёт их снова по всей земле. И снова возродится жизнь. Река — она как мать.

Моя жизнь с детства была связана с водой: жили у озера, рыбу ловили в реке, а на базар плыли за другую реку — за Волгу. От реки же и беда пришла: затопило нас новоявленным морем, пришлось переезжать выше. Когда умерли родители, осталась после них избушка на берегу моря, маленький домишко. И получается, что живу я теперь летом у трёх рек: Унжи, Волги и Нёмды — слились они в единое море, и воды стало больше, чем суши.

А некогда по берегам этих рек текла своя особая жизнь — полная, радостная и горькая, древняя и современная, со своей историей, традициями, песнями, обычаями, со своей географией — лесами, озёрами, лугами, дорогами... И вдруг однажды ничего не стало: затопили. В некотором роде это даже хуже войны и пожара, потому что и земли не осталось. «Как же так? Чьё это наказание, Божье или сатанинское?» — спрашивали переселенцы старики.

Так и умерли, не узнав.

1

Волга и Поволжье. Никогда они не были ни окраиной, ни захолустьем России. Если говорить о культуре русского Поволжья сегодня, то она скромна, приглушена, бедна; разрушена или затоплена. Многие просто забыто. Забыто больше, чем на слуху, на виду.

С удивительным постоянством и упорством текли реки и всё время как бы совершенствовались, спрямляли своё русло. В одном месте мелели, в другом месте рыли ямы, бочаги; покинутое русло превращалось в старицы, они зарастали травой, кустарником и постепенно становились озёрами, а потом и вовсе болотами.

Наносные пески, обрастая травой, становились лугами... И разный зверь, птица, рыба выбирали своё любимое место. Так было века.

И вот человек, понастроив плотин, всю эту вековую жизнь перечеркнул, перекроил по-своему. Значит, должны пройти ещё века, чтобы рыба, птица и зверь обвыклись, как-то видоизменились и начали жить нормальной жизнью. Нет, жизнь эта не прекратится, но изменится сильно, и надо нам просто предвидеть, предположить, какой она будет, куда пойдёт... И помогать доступными способами реке, всему живому на ней и в ней. Но опять же, прислушиваясь, приглядываясь к реке и участь у неё.

А распрудить разом все плотины, как советуют иные горячие головы — это тоже безумие. Не меньше первого. Надо помнить о гибкости природы, её возможности выживать почти в невероятных условиях. От нас же требуется совсем немного — помочь. Революции везде опасны: как в обществе, так и в природе. Эволюция — вот что избрано самой природой,

и только нетерпеливые люди всё хотят исправить революционно. Это эгоистический подход к обществу и природе без учёта гиблых последствий.

Сыпучие жаркие пески у речных отмелей Волги были когда-то целым миром. Поросшие мать-и-мачехой, хвощами, красноталом, они были приютом для чаек, множества куликов; служили им местом жизни, гнездовий. Всё лето тут протекала особая бурная жизнь, неприметная для людских глаз. Редко кто забредал на эти пески, да и зачем? Только по осени, чаще всего уже по льду, приходил сюда человек: за тальником или рыбачить.

А летом они казались пустыней. Пустой землёй. Но как не хватает этих отмелей Волге сегодня, не хватает как санитарных природных фильтров для оздоровления зачумевшей от застоя воды.

2

Было когда-то: летний полдень, пустынно на реке, песчаное ребристое дно прибрежной отмели видно будто сквозь стекло, дно «живое» – весь день перемигиваются на промытом песке солнечные блики и лёгкие тени от водных струй; собранный в цепочку шевелится мусор на чистом дне. И весь день среди этих бликов гуляют стайки пескарей. Когда-то всё это казалось мне смертельно скучным однообразным. И как дорого заплатил бы я сейчас хоть за день той жизни.

3

Все мы тоскуем по старому: по прежним городам, сёлам, Волге. Но прежнего ничего не будет, А если бы оно как в сказке вернулось однажды, мы возроптали бы ещё больше. Наверняка сказали бы: «Только у нас в России жизнь и остановилась». Жизнь должна двигаться, меняться, иначе появится ощущение застоя, обречённости. Всё меняется: земля и вода, деревья и птицы, люди – все вместе и каждый по отдельности. И поэтому у нас есть ощущение пути общего и чувство пути личного. Однако жизнь природы меняется так медленно, что мы все «успеваем» жить, будто она остановилась.

4

Через всю Россию тянется Заволжье. На восток от Волги оно должно быть в лесах, как и было всегда. А вдоль Волги через всю Россию тянулись заливные луга. Теперь их нет, затопило. Цена этих лугов – золотая. Сейчас это золото похоронено на дне самодельных морей.

С левого берега впадает в Волгу река Унжа, одна из главных сплавных рек нашей Европы. Её судоходное русло по весне равно четырёмстам километрам и всё оно сплошь деревянное, в брёвнах. Это всё последствия молевого сплава. Древесина, конечно, не пропала и не пропадёт в отличие от лугов: она морёная долговечная. Своего рода местный золотой запас. Говорят, просились японцы очистить всю реку «бесплатно», то есть чтобы древесину эту забрать себе. Восточная хитрость: оно как то приятно большого соседа считать большим дураком. Я, как бывший сплавщик, могу и без японского компьютера подсчитать, чему равно это «бесплатно». Если взять только одно хилое бревно длиной в четыреста километров, то из него напилишь четыре огромных баржи первоклассной древесины. Но ведь на дне реки в любом месте лежит не одно бревно, если сплав шёл веками... Подумаем.

5

Мы часто говорим о неустроенности России, имея в виду неустроенность, необходимость её дорог, полей, лесов, посёлков, вокзалов... Но может, это и спасёт нас: хоть где-то останется живая природа, живой и здоровый мастер, неразграбленная, церковь, библиотека... В силу отдалённости, непогоды и бездорожья не всё вывезут за границу наши «радетеля» о спасении русской культуры и иных ценностей. Может, и впрямь: «Нет худа без добра».

6

Приречье, где к самой воде подошли старые деревья – всегда богатое место. Тут и грибы, и ягоды, и рыба, и в любое время, кроме зимы, здесь можно безбедно пожить даже без палатки. Такие места как-то хорошо ставят душу на место. Они для любого человека – родина. Надо беречь и увеличивать такие места увеличивать по всей Волге и её притокам.

7

Река, берег, нагретые солнцем камни... Как тысячу лет назад. Хорошо постоять на этих камнях босому, послушать шипение набегающих волн. Если ничего у тебя нет в этот момент, то ничего и не надо. Вполне достаточно реки и солнца, чтобы ощутить себя в детстве, дома, где бы ты ни родился. Что тут: мудрость или безоружная простота? Простота, от которой мы все, взрослея, уходим. Но куда?

8

Помню из детства: в полуденный зной дремал над рекой, «взобравшись» на гору, вековой сосновый бор. Сквозь речное марево он дрожал, плавился и становился как бы невесомым, воздушным, будто уже нездешним.

И верно: прошло всего три года, и не стало ни горы, ни бора, ни прежней реки – всё покрыла безбрежная бездушная ширь моря.

9

Раньше, до затопления, по левому берегу Волги в заливных лугах росли редкие старые дубы. Они стояли как часовые на страже среди лугового цветущего раздолья. Луга были так велики, что в них можно было заблудиться и обессилеть. Это была могучая растительно-животная стихия, особая зона, охраняющая светлый поток Волги от промышленно-городских отходов. Раз в году эта санитарная равнина скреблась и промывалась грандиозным ледоходом и половодьем. А летом прожаривалась солнцем. Несметное птичье царство подрастало в этих лугах каждое лето. В июле среди дубов «объявлялись» стога. Как богатырские былинные шлемы они стояли повсюду от реки до самого леса. Когда стога огораживали жердями, из лесу, из деревень, выгоняли на луг стада коров, овец, коз... Пастухи сидели под дубами, жгли костры, глядели на проплывающие теплоходы. Вечером стадо сыто уходило в деревню, а на смену ему на всю ночь выгонялись в луга кони. Лошадиный пастух располагался у реки, ловил рыбу, очищал от листьев тальник, плёл корзину. Ночью засыпал у потухающего костра. Протяжный пароходный гудок на перекате будил его, он ёжился, наскоро хлебал уху из котелка, а лошадей нигде не было кроме одной, стреноженной у самого яра. Он освобождал её от пут, садился верхом и с глухим топотом скрывался в

тумане. Стадо находил отдыхающим у самого леса, гнал на водопой. Пока лошади, фыркая, пили, проверял снасти, вытаскивал рыбу, и с восходом солнца табун покидал луга.

Этот заведённый порядок не нарушался до глубокой осени, до нудных дождей, до первого снега. А с Покрова у обоих пастухов, коровьего и лошадьего начинался долгий зимний отпуск.

С появлением новых морей на Волге жизнь эта умерла навсегда, а тоска по ней почему-то осталась. И тоже навсегда. Счастлив тот, кто не застал этого. А. может, тот, кто застал.

10

Куда-то уходит всё, исчезает. Помню высокие летние облака над горбиной огромного полуострова, горизонт синий за водами. Мы шли полевой дорогой к реке рыбачить.

Была тихая лесная заливина, стрекозы на хвощах, и так брали упругие краснопёрые окуни, что мы вскрикивали, хватая их на лету и на лугу. И дети, и мы, их родители, все были на подъёме жизни, любили солнце, траву, птиц... Ночные комары не в силах были сломить наш сон у костра, над которым висел закопченный котелок. Кто просыпался, черпал со дна густой навар трав, пил и опять откидывался на лапник. Может, то и была вершина нашей любви, дружбы, земной жизни. Воду на чай мы черпали ещё из реки; недалеко, в крохотной деревушке, был магазин, и там всем без разбору продавали хлеб, чай, сахар, вино и печенье... И всё было баснословно дёшево, вкусно. Две ночи, прожитые у того костра над водой, запомнились будто целая жизнь, неожиданно распахнувшаяся нам напоследок перед полным оскудением страны и природы, перед полным развалом всего.

«Да неужели всё это было?» – часто думается теперь по истечении всего полутора десятка лет.

11

Когда построили плотину на Волге и затопили дубы на лугах, я долго наблюдал за жизнью этих дубов. Странная редкостная жизнь. По весне они ещё зеленели, стояли прочно и независимо. По низу, у их корней, нерестилась рыба, возле стволов плавали утки, а в ветвях отдыхали и даже пели птицы. Дубы жили сразу в трёх средах: в земле, воде и в воздухе. Не часто так бывает. Потом ледоходом ободрали кору на этих дубах, но они ещё сопротивлялись: к середине лета зеленели. Но уже сдавались. Они сохли среди моря будто среди пустыни. Сучья их облетали, редели, потом остались только чёрные стволы, пока и их не порушило ледоходом. Так они и умерли эти дубы на виду у всех людей будто медленно казнённые. А по ночам они ещё снились и детям, и взрослым: кому весна, кому цветистая багряная осень, под дубами растут крепкие грибы-дубовики, шуршит листва и пахнет кисловатой лесной прелью...

12

В безбожно-безбрежном море Горьковского водохранилища, (где ходуном ходят, будто в Беринговом море, устрашающей крутизны волны) в середине лета ещё продолжается нерест рыбы. В затопленной лесной низине под ёлочками (почти в лесу) на утренней заре нерестятся краснопёрки. Скупно позолоченные алопёрые рыбки плещутся, булькают в двух шагах от грибных, ягодных мест; на воду падает хвоя со старых сосен, а они трутся о кочи затопленного клюквенного болота. Где раньше гулял на току глухарь, упруго проходил лось, кормились медведь и рябчик, теперь тихая теплолюбивая рыба, обитательница прежних илисто-луговых озерин нашла свое пристанище, игрище для продолжения рода.

Я сижу на смолистых корнях вековой сосны, радуюсь и дивлюсь одновременно: неужели когда-то ходил я по дну этого нерестилища с ягодной корзиной? И почему люди так неохотно верят в преставление света? А не оно ли уж и идёт сейчас? Откуда-то с из-под облачной вершины как из космоса падает на тихую воду, прямо на головы рыб сухая сосновая шишка – рыбёшки испуганно всплескивают, уходят на глубину. А через минуту опять играют, тычут носами, гоняют по солнечному заливу чёрную семенную шишку. Одинокую, как Ноев ковчег.

13

Когда в тихих заводях зацветают лилии и кувшинки, идут на нерест лини. Самая неторопливая спокойная рыба: никому не мешает, никого не обижает и не обжирает. И нерест у неё проходит тихо, скрытно, без большого шума и плеска. Цветёт липа, идёт сенокос, какое – то золотое медовое время. И линь, золотой увалень, нежится под солнцем в тёплой воде и очень любит царство кувшинок и водяных лилий. В июле лето проникает не только в вершины лип, но и на дно заросших озёр.

Как только отнерестится линь, лето как бы задумывается и начинает исподволь истаять, утихать, готовясь к завершающей плодоносной поре: поре ягод, грибов, птенцов.

14

Будничность воды – такая же, как будничность пашни, песков, дороги. К середине лета тоска исходит от реки, берегов, озёр, осоки. Надоедают стрекозы, запах тухлой воды на дне лодки, в которой болтаются рыба чешуя, остатки травы, водорослей... Всё надоедает: утиный пух и помёт по берегам, запах тины, блеск солнца на воде.

У всех у нас, кто окончил когда-то речное училище в Горьком, молодость отшумела по рекам. И прежде всего на Волге. Было совсем не важно, в каком городе, в каком порту ты проснулся: на Волге – значит дома. Волга была для нас как Свердловка для курсанта Речного училища, особенно она стала «домашней» после последней полугодовой практики, когда мы разъехались по многим портам и пристаням Советского Союза от Сахалина и Амура до Калининграда и Днепра.

Реки различны, но в чём-то удивительно похожи. И жизнь и работа на них схожи. Только вначале всё ново и восхитительно на реке. Потом привыкаешь, потом становится скучно, а потом – безразлично.

А что сейчас? А и теперь никакое плавание, никакие события на реке уже не вызывают больших эмоций во мне – просто деловое разумное отношение ко всему, будто до сих пор работаю на реке.

15

Давно было. Лет тридцать пять прошло. Тогда ещё и Волга не вся была сплошным застойным морем. Шли мы из Унжи в Волгу, а по ней до Казани, с плотом. Плот большой, полный – почти в четверть километра; нас, плотовщиков, двое. Тесовая будочка у нас с сеном, как шалаш посреди плота; на дерновине, брошенной недалеко от шалаша, дымит костерок под чёрным чайником. Живём. Уже пятый день плывём, привыкли. На рассвете прошли город Горький: пустынная чкаловская лестница, зелёный откос – всё спит.

А мы спали больше днём, чем ночью – отогревались под солнышком, потому что ночами было уже холодно и нас «пробирало» на хилой подстилке под летними одеялами.

Где-то возле Чебоксар я проснулся среди ночи от холода. Чуть светало, был слабый туманец, я почуял запах, свежего сена с лугов и пошёл на край плота. А подходя, услышал, как журчит, ревёт вода: плот всей пластушиной навалился на каменистый берег, и кусты были совсем рядом. Мы еле двигались. Глянув на ходовые огни буксира, я понял, что он работает чуть ли не поперёк реки. Это была почти авария: вода шла уже поверх брёвен. Я застыл в нерешительности. Была минута какого-то перелома, как поворот судьбы, я тупо глядел в брёвна, ждал, и вот плот стал растягиваться, напрягаться, все зашевелилось, заскрипело – и мы начали медленно отваливать от берега... Но «брюхо» плота зацепилось за каменистую гребёнку на дне – и пошли играть все брёвна как спички под дресвяной скрип и скрежет. Всё перекорёжило, тросы натянулись до звона, пучки брёвен расплющились, иные вздымались бугром. Я не знал, куда бежать: не было бревна, которое бы не оседало в воду или не лезло вверх. Как при землетрясении я был совершенно растерян.

Так со скрипом перебрало, перетряхнуло весь плот, он вытянулся, потерял привычную строгость и стройность, посреди него зазияли водные дыры, фонари упали... Тогда и подумалось мне: вот так же и на Земле мы живём: привыкли к размеренному распорядку, к твёрдости и незыблемости почвы под ногами. А вдруг однажды задрожит, зашевелится вся твердь, скроется солнце, потеряют воды свои берега... И что тогда сможет сделать человек со всей своей техникой и гордостью? А ничего кроме запоздалого и жалкого: «Господи, прости...»

16

Постоянно бывая на Волге, вот уже много лет я испытываю какую-то апатию, безразличие. Как-то вяло течёт жизнь, вяло думается, нет надобности торопиться. И постоянно какая-то тоска. И только недавно мне открылась причина этого: нет быстрины, течения на Волге. Струи нет, перекаатов, той стремительно-острой холодной воды, над которой всегда свежесть, напряжение, жизнь. И все птицы, рыбы, даже водоросли стали ленивее, толще, больше. Изменился характер реки, и всё на ней изменилось.

Может, ещё и поэтому мы так любим нынче быстроходные, будто летящие суда: «Метеоры», «Ракеты», «Восходы». Пусть только видимость, искусственно, но они как бы быстрее делают реку и всю жизнь на ней.

17

После Ильина дня Волга всё чаще будто шубой из голубого песка обволакивается туманом. С ночи туманы бывают так густы, что капитан судна, ночующего у берега, даже самого берега не видит. Какое уж тут плавание, на берег идти надо.

Раньше, по Волге, по левому луговому берегу, тянулись старые дубовые гривы, с логами, озёрами, покосами. В туман вся команда под водительством капитана уходила в эти дубовые гривы за грибами. На судне оставался только повар-кок да провинившийся матрос. Шли, с удивлением приговаривали: «Ну и туман, хоть ножом режь!» А сами рады были, что часов до 10–11 полудня будут гулять по лесам, выискивая белый дубовый гриб.

Только к обеду появлялась на Волге слабая видимость. Пароход гудел, сзывая заблудившихся и слишком азартных грибников из леса. Потом плыл потихонечку, как бы на ощупь в редющем тумане. И на всю Волгу пах свежими жареными грибами. И вся команда ходила радостная: когда рыбный дух на судне сменяется на грибной – навигации скоро конец.

От первых туманов до первого снега

1

Кажется, что осенью земля дремлет. Дремлют рябины, дубы, травы, грибы. Особенно в туман: здоровая дремота спелой земли, какое-то мудрое продлённое время. В золотом лесу серебряные капли будто спросонья падают на бархатные головы холодеющих грибов.

А грибы – они как не от мира сего. Они словно перепутали времена года: все начинают расти весной, а они осенью.

2

Осенью люди умирают, а грибы рождаются. Грибы – особый лесной «народ». В них какая-то мудрость и тайна. Они будто тихо играют с нами: от одних людей прячутся, другим «выходят» навстречу. Бывают грибы независимые, иные кокетничают, третьи улыбаются... Если гриб и растение, то самое одушевлённое. Главное в их характере – удивлять и радовать человека. Грибов «злых» очень мало, а может, и совсем нет. Когда, лёгкая багряная листва тихо опускается на землю, грибы разом выходят ей навстречу. У них начинается какой-то грибной карнавал, праздник, парад. И в это время чувствуешь, что в лесу кто-то невидимо прячется от тебя. Бывает, сидишь на просеке, упадёт на плечо лист – будто коснулся кто, боясь напугать. Лес дремлет, а когда забудется – налетит ветерок, и кажется, на облетающих листьях катаются невидимые души грибов.

3

Встретишь в лесу стайку взрослых белых грибов и обязательно поглядишь, как они растут, как прячутся от людей, где выбрали себе место. И уж точно знаешь, что никого из людей они ещё «не видели», ты первый: иначе срезали бы. Вот это-то чувство первого знакомства мы и ценим больше всего. И слова этим грибам говорим самые добрые, неясные, и чтоб никто не слышал, – по секрету. Почти как в первой любви.

4

В детстве я любил спать в лодке. Особенно в волны: не дует, качает, убаюкивает. Лодка дёргает «мордой» как конь на привязи. Бывало, раскачает она притычь, выдернет её – и понесло по воле волн. Проснёшься уже на середине озера: до любого берега далеко. «Да неси ты, куда хошь!..» – мелькнёт озорная мысль и бухнешься опять на волглую осоку в нос лодки: так не хочется грести спросонья попусту.

Однажды прибило меня у дубовых грив. Я огляделся, зевая, замотал лодочную цепь за ближайший дуб и, накинув фуфайку, нырнул низом под шумную дубраву. Как тихо тут было и ново! Я шёл по сухой лиственной гриве, сгонял всё ещё не вылинявших тетеревов, ел кислую костянику и таких крепких пузатых грибов-дубовиков набрал, что не знал как их нести. Подумав, снял с себя штаны, вывернул их, перевязал штанины талийками и стал загружаться. Кинул ношу через плечо наперевес, и – к лодке. На берегу шумело и дуло уже по-другому, что-то с погодой творилось.

Выйдя к воде, я понял: ветер заметно стих, сменился и всё больше поворачивал в обратную сторону. Пока я отливал воду из лодки, он и вовсе потянул к деревне. Приспособив на корме куст ольхи (вместо паруса), я опять кинулся в нос, подобрал голые ноги под фуфайку

и опять уснул. Весь день хотел спать: наверное, после ночной пастьбы лошадей или охоты. Уже в темноте меня опять прибило к родному берегу и снова почти под самым домом.

Я причалился и, будто нигде не бывав, спокойно пошёл в гору, к дому.

— Где ты был?

— Да вот за грибами плавал...

— О, какие... Молоде-ец!..

Шмыгнув носом, я скорее кинулся на печь в тепло и искать горячие штаны к ужину.

Таких «хождений» за грибами было в моей жизни не много. А самое удачное только одно — вот это. Сейчас удивляет, как много у нас было связано с водой: грибы, ягоды, охота и даже сенокос.

5

Осень видится мне самым спокойным и растянутым временем года: начинается она ещё в августе, при цветах, и кончается в ноябре при замерзших озёрах. С первого жёлтого листа на дереве и до последнего — всё осень. Здоровому человеку можно так много сделать за осень, так подготовиться и укрепиться во всём, что не заметишь, как пролетит и зима. Всё зависит от здоровья. У больного же человека как бы всего два времени года: зима да лето. А у охотников и осень делится на несколько сезонов: время начала жатвы, первых утиных выводков и первых грибов; листопад и главный отлёт птиц. Отлет птиц тоже делится на несколько частей от августовского до ноябрьского. Есть в осени период затяжных дождей, период осеннего гона у некоторых зверей, период линьки, короткое время охоты по чернотропу и на «узерку», период охот и рыбной ловли по перволедью. И наконец, первая пороша. И любое время — как праздник.

6

Со сменой общественного строя Россия утратила не только духовные ценности, а и культуру, в том числе и охотничью. Нынешнее браконьерство — одно из последствий этой утери. Хотя настоящий охотник глубину проникновения в мир природы и по сей день ставит выше добычи. Добыча — дело случайное и со временем не доставляет ни особой радости, ни сильного огорчения. Молодой охотник стремится как можно больше стрелять, опытный — как можно меньше. Ему даже неприятна эта оглушительная пальба. Стреляет он как бы нехотя, по необходимости и старается так, чтобы результат был «громче» выстрела. Часто бывая на Волге и в лесу, я не раз замечал и могу сказать с полной уверенностью: истинного рыбака и охотника можно определить по неподдельной скромности, даже застенчивости. Вы и в лесу-то его почти никогда не увидите: пройдёте в двух шагах и не заметите. Новый человек в лесу видит и слышит только берёзы да ёлки, а охотник всегда то, что — за берёзами и ёлками. Поэтому человека случайного в лесу он услышит и увидит первым и постарается не напугать его и не помешать ему. Но для себя определит: кто, куда и зачем идёт и долго ли там пробудет.

И в полях наших что-то безвозвратно развеялось. Оттрубил охотничий рог, отгнали гончие и борзые. И вместе с ними смолкла одна из самых радостно-пронзительных мелодий в русской литературе — охотничья.

Сегодня мы мучительно ищем связующие нити с прошлым, со свободным человеком прошлого. Где те благородные бодрые старики, что с утра гуляли по Москве, шли на Тверскую, в Столешников переулок, на Кузнецкий мост... Встречали друзей, выпивали из серебряных с гравировкой стопочек под севрюгу и грибки и вели речь об охоте, литературе, театрах, за границе... И никому не приходило на ум спросить, кто из них какую пенсию получает, где её заработал и можно ли выпивать с утра. И для них этот вопрос не стоял. Они были сво-

бодные люди в ещё свободной Москве. Я люблю бывать на Кузнецком мосту: там лежат ещё те камни на мостовой, по которым ходили те старички, которым все леса и плёсы Поволжья были как свои, родные охотничьи угодья.

7

С отмиранием старых охот, способов рыбной ловли отпала большая поэтическая часть нашей жизни. Идёт какое-то оголение и земли и человека, со всего снимается последний покров, последняя тайна. «А дальше что?» – хочется спросить. И нет ответа.

Может, и не зря говорили старики, что придёт время, когда люди будут уходить из городов в леса и горы, чтобы начать жить сызнова. Видимо, это есть отступление от роковой черты назад, дабы снова обрести цель и движение. Но тут уже видится что-то искусственное.

8

Бежит по камням холодная вода. Таких мест в наших волжских морях почти уже не осталось. И только там, где коренное русло подходит к самому берегу, ещё живёт вода, роет яр, промывает камни. Удил как-то среди лета в таком месте, и попалась мне усатая рыбешка, неведомая. Долго я на неё глядел и гадал, пока не вспомнил – пескарь! И не мудрено забыть: лет сорок я этой рыбёшки не видел, думал, что её уж и в живых нет. А вот жива. И так я обрадовался, что как старик «золотую рыбку» отпустил его опять в море. А было это в 1993 году у слияния трёх рек: Волги, Унжи и Нёмды. Вот какие радости теперь нас ожидают.

9

Когда подплывешь к шлюзам Городецкой плотины, около часа теплоход идёт от Нижнего старым руслом Волги – меж старых берегов. Есть тут дубравы по лугам, есть песчаные отмели с чайками, есть глины и камешник, есть течение... Всё, как прежде. И смотришь на всё с умилением, будто попал в музей старой Волги. Таких участков на Волге остались считанные вёрсты, и надо их беречь всем миром.

10

Всю жизнь смотрю вверх Унжи как в гору, а к низу, на юг – под гору. И только недавно осенило: да ведь так оно и на самом деле. Ведь не зря же сказано: вверх по реке и вниз будто по лестнице. Наверное, прадеды наши и понимали это буквально, как бы осязательно, что вода бежит с верху, с горы.

11

Осеннее пространство над водой (рекой, озером, морем) это особая стихия. Тихими непроглядными ночами его можно слушать как музыку. Спит лес, спит вода, но небо живёт: там, воздушным коридором, неостановимо гребут и гребут усталыми крыльями к югу птицы. То с ровным шумом, то со свистом, то с дребезжанием перьев они несутся стая за стаями в одну сторону.

Бывает, ночуешь где-нибудь на речном острове, спишь как зверь в стогу и сквозь сонловишь шероховатый посвист утиных крыльев. Наслушается чуткое охотничье ухо этого перелётного шелесту, и успокоится душа всю долгую зиму. А иначе, вроде, и не перезимовать.

12

В Журавлёве на Унже поздней осенью уводят от берега пристань, ожесточается ветер, и начинает бить прибой, перекачивать, истязать у берега брёвна. Идут дожди, летят и садятся на то место, где была пристань, последние чёрные утки. Потом хватают морозы, скуют поля, грязи, озерины и прибрежные воды самой реки-моря. И тогда с озимых полей, крадучись по оврагу, выходит к морю заяц-русак. Я примечаю его каждую осень – каждое предзимье он проверяет пристанской берег и первый лёд. Чего ему тут надо, я так и не знаю. Загадка.

Метельный стрежень

1

Всю ночь лежал на печи, и замёрзла река. Точнее – заводь, где накануне вечером охотился. С утра морозило ещё сильнее. Поэтому весь день гнал лодку к месту зимовки. Леса присмирели, еще жёлтые, и в холоде роняли листья прямо на тёмный лёд, а земля была уже белая от снега. Стоя в носу лодки, я разбивал колом лёд, продвигался трудно и медленно. Пробился только к вечеру, устал, обессилел и в сумерках отнёс ключ от лодки хозяину.

А через три дня всё растаяло: и снег, и лёд, и ещё долго тянулась тёплая дождливая осень. Но я её уже не помню, будто она была мне лишней, ненужной.

2

Лодка на берегу реки ждёт зимы, на неё садятся последние кулики и чайки. Людей на берегу нет, одиноко мокнет под дождём поленница дров, рядом с поленницей толстое намокшее бревно, и к нему намертво, как рабыня, прикована цепью эта лодка. Не человек, но побыть с ней приятно. У меня всегда такое ощущение, что она слышит работу волн, чувствует смену ветра, облаков, полёт птиц и ход рыбы... Это ощущение у меня с детства, от жизни у озера. Я знаю, что это нелепица, но мне не хочется расставаться с тем чувством: в неодушевлённом мире жить скучно, как-то уж очень куцо, законченно. Поэтому я всегда жалею физиков, а вернее, их зажатые души, точные и тоскующие, как электроны на своих вечных орбитах.

Зимой лодка тоже тоскует, она – тоже материя. Но наступит весна, придёт её хозяин, освободит от кандалов, и она первая, гордо задрав нос, поплывёт навстречу льдинам. Весной, под слепящим солнцем, любая лодка на воде не рабыня, а царица.

3

Лунной ночью будто в дрёме пошумливает старый сосновый бор. А под обрывом, у подножия бора, как люстры звенят камыши: их стебли по урезу воды обросли стекляшками льда. Волна подойдёт, с глухим шумом затопит камыш, а с отливом её вдоль берега бежит как по цепочке тонкий хрустальный звон. Бежит и переливается в лунном свете. Не часто увидишь и услышишь такое, даже не каждую осень. А уж если доведётся – остановишься, сложишь вёсла в лодке и не то пожалеешь о чём, не то размечаешься, забыв, что на реке и по всей округе ноябрь, почти зима. И плывёшь опять один в ночи, и сквозь плеск воды всё чудится этот переливчатый звон, будто бежит он за тобой вдоль берега, напоминая о иной, счастливой, жизни, которую ты как будто утерял и теперь виноват и обездолен...

4

Поздней осенью, когда водоёмы уходят под лёд, там начинается особая таинственная жизнь: замирают на зиму водоросли, моллюски, черви, и особая жизнь начинается у рыб. Иные уходят в ямы, бочаги на зимовку, другие выходят на гряды, пески, на мель кормиться или просто так, а точнее – люди не знают, зачем. Не знают даже заядлые рыбаки. Нет ничего загадочнее зимней жизни рыб. Когда, в какое время какая рыба и на что будет брать, не знает никто из рыбаков. Тут нет единых правил, и потому специалистов по зимней рыбалке тьма, но истины до сих пор нет. Точно так же как до сих пор не раскрыта тайна самой воды. И не раскрыта тайна первого крещения человека. Тоже водой.

5

Хороши в перволедье лесные реки. У них тоже праздник. Любит под светлый лёд выходить на пески рыба. И птицы любят перелетать застывающую реку, подолгу сидят на голых вершинах берёз, будто ждут, когда схватится чёрный текущий стрежень. Особенно «усидчивы» тетерева. На раскидистых вершинах рыжих лиственниц кормится глухарь, сорит на лакированный лёд закраины вяло-жёлтый игольник. Сорока перелетит лениво шевелящийся стрежень, оповещая оба берега о вышедшем к реке лосе.

Пока утро, мороз, и нет туч на небе, лес звонко живёт, разделённый рекой, а придёт ночь, и пойдут по перволедью на другой берег зайцы, лисы, перебежит горностаи. Обменяются берегами, и следов не останется. А когда выпадет первый снег, – пойдут обратно. И так с каждым снегопадом, метелью будут ходить с берега на берег всю зиму.

6

Удивительное дерево ольха: всё время кажется озябшей. И стоит всегда у воды – над рекой, в ручье, у озера – всегда под ней сыро и прохладно.

Придёт осень, выпадет снег, а она красуется одна зелёная среди давно уже голых деревьев, ни один листик не облетел. Так я и не видел ни разу листопада у ольхи, но в зиму она голая. С причудой дерево, с «характером». Облетит последней, а весной первая зацветёт ещё до собственных листьев и до схода снегов. Вот тут её и заметишь раньше всех: подойдёшь к ней по насту и обязательно понюхаешь бахромчатую кисточку цветов, какую-то бурую с жёлтой пыльцой, невзрачную, но – первую лесную вестницу весны. И за это отдашь ей всю душевную благодарность. А потом уж зацветут в лесу все, и не вспомнишь о ней опять до осени. Ищу, с кем бы её сравнить в нашей, человеческой, жизни, и приходит на ум наше отношение к матерям: по-настоящему любим их в детстве своём да ещё недолго в старости. А в остальное время как бы и не замечаем, и только потом, когда наступает сиротская зима в нашей жизни, вдруг разом осознаём всё.

7

Выпадает первый снег, и река будто уходит в свой длительный отпуск. Ни судов, ни чаек, ни уток уже не видно. Только чёрная вода, меж белых берегов, тяжёлая как дёготь. Бывает, увидишь вдалеке одинокого человека на берегу и невольно поёжишься от холода, от какой-то обречённости и сострадания к нему и к себе. Все мы перед зимой как бы сиротеем, будто пускаемся в длительное неведомое плавание, и в душе знаем, что не все доживём до весны, солнышка, лета... А уж кто доживёт, того встречаем по весне как победителя, друга, со светлой душой, с верой в бесконечность жизни.

Откуда в нас это чувство?

8

Если в декабре среди заснеженных холодных берегов течёт река, ещё не знавшая в эту зиму льда – она не вызывает радости. Всё уже давно отработало на ней, отжило, завершило весь летний сезон: улетели птицы, ушла на глубину рыба, облетели и уплыли листья с деревьев, затонули водоросли...

Река будто мёртвая. И кажется, будто мучаются и вода, и берег. И вода эта не вызывает никакого чувства кроме тоски, несвоевременности, какой-то затянувшейся неопределённости.

9

Уходя в зиму, река прячется от людей дважды: первый раз – под лёд. Здесь она ещё всё видит и слышит. Потом – под снег. Тут уж ничего не видит, но ещё кое-что слышит. И только в феврале река напрочь слепая и глухая.

10

Бежит по реке мимо лесов и деревень позёмка. Завернёт в затон, где сгрудились на зиму суда, да тут и оседет, останется до весны: без пароходов на реке и ей скучно.

11

Какой-то особой и тайной жизнью живёт река. Её глубинная многовековая жизнь скрыта от нас, упрятана под толщей воды. Там тоже идёт непрестанная борьба за выживание. Может, в таких тайных сокрытых пребываниях воды и земли и таятся те силы, которые помогут выжить и природе и человеку. Тайна везде нужна как резерв сил для выживания в критические моменты.

12

Первая проталинка возле деревенского дома – как сигнал к возрождению жизни. До неё и живёшь, терпишь долгую зиму. Глянешь из окна, как шевелится просохшая травка на этой вытайке, и в душе оживает новая надежда на жизнь. Теперь эта надежда день ото дня будет шириться, расти вместе с проталиной и незаметно забирать тебя в круговорот жизни.

13

И в полях, с южной стороны перелеска среди снегов рыжеет луговинка. Ночь заморозит снова траву, мох, застеклит ледком первую лужицу, а с рассветом на луговинку прилетит тетерев и начнёт кружить тут среди можжевельин, на самой заре в таком месте не только тетереву, а и человеку можно всласть нагуляться, отдохнуть душой и телом.

14

Апрель. Вот-вот раздвинется ночь, и в глубине леса запоёт глухарь. Кто видел и слышал глухариный ток в юности, пусть не очень огорчается, что ещё не был в Большом театре. В Большом театре поют и танцуют разные люди, а глухарь это делает один, одновременно, и на такой «декорации», которая ни разу не повторяется. И в такой тишине, что она давит

на барабанные перепонки, и мир кажется лишь вчера сотворённым. Этому «спектаклю» не одна тысяча лет – и всё премьера. Кто ещё может – посмотрите, послушайте.

15

Бывают разные люди: степные, лесные, захолустные, озёрные речные, морские... Не только по месту рождения и жизни, а и по «устройству» души. Я в разных местах жила, и во многих нравилось. Но как бы ни было хорошо, а рано или поздно меня тянуло на реку – как в свою родную душевную стихию. Даже в море я мечтал не о берегу, а о реке. Леса, звери, птицы, рыба и, конечно, люди мне нравятся всякие, но речные – ближе. В них неистребим дух вольности, свободы, какой-то особой широты и раздольности. Когда я долго не вижу и не слышу всего речного, душа моя как-то съёживается, тускнеет, будто лишается вентиляции, особенно хороши на реке вёсны: ледоход, половодье, «сражение» льдин со звоном и тяжким «дыханием»... Такого праздника не знает даже море.

Перезвоны и разливы

1

Высокий солнечный полдень. Сажу на берегу мутной реки. Ледоход, плывут льдины, брёвна, коряги, пена. Ветер холодный, а солнце яркое. После ночной охоты дремлет, нет сил даже пошевелиться. Глаза медленно закрываются, и в этот момент могуче рушится, лежащая на костре брёвен льдина. Со звоном сыплются ледяные иголки, а край льдины сверкает многозубо во всю ширь излома – будто сама река улыбается весне. И уже не хочется спать, а хочется что-то делать, торопиться вслед за весной.

2

Заснеженное болото. Старая сосна. Нападала отжившая хвоя на снег. Зима ещё. Но середина болота провалилась, тяжело засинела снеговой водой. День-два и вместо болота будет озеро, на сосну прилетит ворона, по-весеннему гаркнет раскатисто, и на озеро опустится нарядный изящный щеголь-селезень. И новая весна начнёт неудержимо теснить зиму от озера вглубь леса. Сколько раз я видел подобное, переживал, но не могу привыкнуть, не могу удержать душевный разгул – какое-то древнее чувство подмывает меня с каждой весной.

3

Удивительно устроен человек: вот течёт Волга с севера, и кажется, что всё приходит с севера: дожди, ветер, зима и даже весна. Странно как-то: птицы летят с юга, а весна, идёт с севера. А всё потому, что ледоход по реке идёт с севера у нас. И река там раньше вскрывается, и птицы летят туда, и вообще всё там как бы раньше и чище... Туда и первые пароходы идут в первую очередь – везут продукты, удобрения, инвентарь. А оттуда лес, лес и лес... И еще долго вместе с этим лесом и паводками катится с севера к нам весна.

4

Весной, когда в заливных лугах выходит на мель рыба и греется на солнышке, пропадает всякий рыбацкий азарт, хочется притихнуть, полюбоваться, как эта рыба после долгого подлёдного плена впервые глядит в вольное синее небо. Она нежится, валяется на подвод-

ной траве и так доверчива ко всему этому весеннему миру, что в душе становишься другом ей, а не ловцом.

5

На реке ещё ледоход, и в прибрежном лесу снег. Но на глинистом обрыве возле самой воды распустился жёлтый цветок мать-и-мачехи. И вот из речной глубины выплывает плотный крутолобый язь и своим подводным глазом смотрит на жёлтый огонёк цветка, будто спрашивает: пора, или не пора? «Да пора, пора, – хочется сказать ему. – Самая пора язёвому нересту: видишь, горит «жёлтый», не успеешь повернуться – всюду будет «зелёный», торопись...»

6

В 1995 году приехал в деревню. В весенних заливных полях кричит и кричит пронзительно куличок. Знакомо кричит, звонко, как когда-то в моём детстве в старой нашей деревне у озера. Сколько лет прошло, все уже умерли – и люди, и кони, и колхоз распался, и леса вырубili, и высокие партийные начальники «слиняли», а он всё кричит как тогда, в пору МТС-ий, удушающих сталинских займов, разорительных налогов, наглых налоговых агентов, поголовной послевоенной нищеты... Кричит, будто зовёт меня в начало моей жизни, в пору детства и отрочества, когда мы были с ним по выражению нынешних политологов «на одном социальном уровне» – жили в одних и тех же полях, лугах, скудных, но родных и счастливых.

Помню, полуголодный я тащился, тогда из школы, и в поле меня нагнал, напугал налоговый инспектор – грубо толкнул с обочины в водянистый снег. С кожаной полевой сумкой на бедре и в крепких яловых сапогах он торопился в мою деревню, чтобы «произвести» опись всего нашего имущества, начиная с ружья, швейной машины и, кончая курами и самоваром. Я лежал на талом снегу в полузабытьи, шевелиться не хотелось, клонило в сон, и не было во мне ни злости, ни обиды. А рядом, по краешку полевой озерины, всё семенил и пронзительно кричал на всё поле серенький куличок: «Кто в бе-де-е? Кто в бе-де-е-?...» Я слушал его с усмешкой и удивлением: «Ну кто в беде, чего ты выдумываешь?»

А в беде была вся Россия.

Но об этом тогда кричали только кулики.

7

Идут по реке первые теплоходы, и на всю округу играет поёт радио. Оживают, отогреваются по берегам деревни, слышно, как поют кое-где петухи, но больше, громче – радио. И вот еще один, новый, звук плывёт над утренней водой – ожил, заговорил в селе церковный колокол. И звон этот всё объял, объединил.

Хорошо под этот звон в Пасху плыть по реке на север.

8

Появившееся на Унже внутри лесов море (от Горьковской плотины на Волге) никак не может прижиться среди сосен. И утки на этом море садятся, и глухарь по весне на берегу токует, но все живут как-то напряжённо с оглядкой: уток настораживает шум соснового бора, а глухарю, наверное, не нравится ветер и рокот прибоя. И человек чувствует эту дисгармонию, и никак не может избавиться от мысли: «Пришла эта вода в старый лес как непрошенный гость». Разные возрасты у них как у дворян и пролетариата: бор стоял и рос тут веками,

а новоявленному морю нет ещё и полувека. Но никто уступить не хочет, и кажется, не живут лес и море все эти годы, а враждуют. Как и мы – после революции 1917 года.

Видимо и у людей, и у природы на земле должен быть порядок. Естественный. А не придуманный кем-то ради собственной выгоды.

9

Сейчас в России как в огромном котле происходит какая-то бурная химическая реакция, в которой враз взаимодействуют все элементы общества, многие растворяются или видоизменяются...

Но среди всего населения России есть такая порода русских мужиков, которая никогда не вступала в «реакцию» – ни в Октябрьскую революцию, ни в Августовскую. Эта порода золотых мужиков не «растворялась» ни в царской водке, ни в советской, ни в демократической. Это они, эти мужики, били и бьют лосей и кабанов в лесах, строят дома, кладут печи, кроют церкви... Всё они умеют и все понимают. Однажды весной не то в Шахунье, не то в Шаранге на станции железной дороги они подожгли два вагона химических удобрений – тем самым спасли от гибели тысячи звериных и птичьих голов. Нет, они не будут «в ступе воду толочь» – писать в газету или в правительство, доказывать, что вредно, что нет... Знают они, что толку от этого мало.

Вот если выживут эти мужики, выживет и Россия. Больше надеяться ей не на кого.

10

Если взять нашу Волгу, то вал весенней воды-снежницы, самой живительной для рыбы и птицы, в прежние времена докатывался до Астрахани за месяц. Иными словами апрельская вода лесного севера приходила на юг в мае. Теперь со множеством плотин на Волге она добирается туда в 10 раз медленнее, то есть примерно в феврале-марте следующего года. По какому же календарю должна жить рыба, птица и всякая речная тварь?

11

Когда-то была такая общественная организация – Комитет спасения Волги. Несколько лет я состоял в нём, то ли формально, то ли официально – этого я так и не понял. Много было собраний и разговоров, помню собирались мы в Калинин, а потом в Москве. Народ съезжался со всего Великого Союза, среди нас, провинциалов, были и крупные люди: академики, заместители министров, философы, учёные-атомщики, подводники, лесоводы, филологи... говорили много, убедительно, ярко и настолько весомо, что после каждого выступления хотелось встать и идти крушить, бюрократов. Сначала – одних, а после другого выступления – других.

Самые лихие выступления были такие:

1. убрать, уничтожить все плотины на Волге;
2. убрать все десять атомных станций с берегов Волги;
3. добиться решения этих вопросов Правительством страны.

У меня сохранилось много записей с тех заседаний. Много и в личной жизни связано с Волгой (родился в рыбацком колхозе, окончив Горьковское речное училище, работал по всей Волге, немало и писал о реке). А теперь хочется как бы подвести некоторый итог.

Когда запружали Волгу первыми плотинами, то вполне серьёзно полагали:

1. большая вода улучшит судоходство и грузооборот (правильно);
2. даст электроэнергию во всё Поволжье (правильно);

3. снабдит водой засушливые районы юга (правильно и неправильно: искусственное орошение вымывает с полей соли, которые текут в Волгу);

4. в новых морях будет изобилие рыбы (рыбы больше, но ценных пород меньше; многая рыба болеет от застойной воды);

Не учли или просто махнули рукой на:

1. потерю многих приволжских городов, сёл, деревень (всё это сгнуло вместе с культурой, ремёслами, обычаями);

2. потерю лесов (особенно жаль дубрав), заливных илистых полей, целого раздолья приволжских пойменных лугов (золотой запас Родины с точки зрения животноводов);

3. реку, как живой организм;

4. отдельно – на воду.

Вот последние два параграфа нам и будут мстить всю жизнь. Возможно, со временем, они перетянут в своей весомости все остальные вместе взятые.

Помню, говоря о бедствиях Волги, комитетчики нашли всех «врагов» кроме одного – главного. Есть один секрет, который сегодня ни для кого не секрет: Волга – стратегическая военно-транспортная артерия России. Всем ясно, что военные заводы строят не вдоль границ, а внутри страны. И атомные подводные лодки, к примеру, мы не можем тащить волоком через всю Европу к морям, на юг или на север. Удобнее всего – по Волге, а для этого ей нужна глубина и ширина. Есть и другие «изделия», которые разумно «ковать» на берегах Волги.

А кто может перечить военному ведомству? Кого слушать, если идёт речь о безопасности страны? Поэтому все проблемы зелёных, лесных и водных, отодвигались на «потом». Этих «потом», начиная с царских времён (леса начали варварски вырубать с развитием капитализма в России) у нас накопилось так много, что пора уже остановиться на берегу Волги и задуматься, не прикидываясь больше слепым, глухим или слабоумным. Когда запружали Волгу, то чистосердечно надеялись наряду с хозяйственными расчётами ещё и обмануть природу, «взять у неё»...

Взять не взяли, а отдавать придётся, к прежним берегам возвращения нет: сегодня прежняя маленькая Волга не вынесет перенаселённого людьми (городами и заводами) Поволжья. Вода в ней будет просто чёрная от отходов и может стать источником заражения и вымирания 60 % (статистические данные) населения российской Европы, собравшегося в Поволжье.

Доживать и умирать нам придётся, конечно, при этой воде и при этих берегах. Но изменить что-то, можно. Разумеется, исправлять глупость тоже требуется не малый ум. Прежде всего воде необходимо дать подвижность, какую-то текучесть. Способов тут много: обводные каналы, постоянные рыбопропускники, автоматические шлюзы-клапаны... Инженерная мысль ведь не остановилась у нас и не стала слабее. Только всё делать надо комплексно, надолго, при соблюдении:

1. постепенности;

2. осторожности;

3. многовариантности.

Единственное, что не требует никакой осторожности и проверки, это – сажание лесов по всему Поволжью, и прежде всего в водоохранной зоне, и сажать не какое-то корьё или тополя, а хорошие долговечные породы: дуб, кедр, вяз, липу... Это может сделать на своём берегу любая деревня, посёлок, город.

12

Однажды, растапливая печь в своём деревенском доме, я прочитал маленькую заметку на обрывке газеты. Ни числа, ни названия газеты уже не было. Но могу с уверенностью ска-

зять, что по времени это самая грань наших веков. Заметку я сохранил и привожу её полностью: «Трое заготовителей из Молдовы, работавшие в Андреапольском районе, внезапно потребовали расчёт и покинули Верхневолжье. По их рассказам, неподалёку от деревни Бервенец они повалили старую и очень высокую ель. И вдруг из-за неё появился огромный медведь. «Рабочие застыли на месте и не смогли сдвинуться до тех пор, пока великан не обошёл всех троих и не заглянул им в глаза, обнажая свои гигантские клыки, – так, в частности, рассказала об этом газета «Вече Твери». – Затем он немного постоял у спиленной ели, заревел и исчез».

Местные жители считают, что заготовители убили «хозяйку» леса. А её дух и явился им в виде трёхметрового медведя. Говорят, что теперь здешний лес обречён на гибель: и звери уйдут из него, и птицы улетят. Пока же лесхоз работы здесь прекратил».

Кто как, а я верю в правдивость этого случая. Было нечто подобное со мной в детстве. Но об этом – в другом месте и в другое время.

13

Всякой весной, когда плыву в родные места на теплоходе, когда раскинется во всю ширь безбрежье запруженной Волги, я невольно завидую молодым. Они плывут и радуются: им всё внове. А я плыву над полями, лесами, лугами, над дорогами, деревнями и кладбищами – плыву над своей прошлой жизнью, как над первым этажом её.

И всегда во мне две жизни – та и эта. И всегда неотвязно одно чувство: земля под водой тоскует как в плену, жалуется, а я не могу её освободить.

14

Если идти по древнему Макарьевскому тракту в сторону древнего Юрьевца, то дорога однажды войдет в старый сосновый бор, сосны расступятся, и песчаная колея полого пойдёт под уклон... Но совсем скоро забелеет просвет среди тёмных сосновых крон, душа обрадуется в ожидании чего-то, ноги понесут быстрее, быстрее... И вдруг остановишься как вкопанный: земля кончилась, впереди раскинулось море, а большак всей своей ширию нырнул под воду...

Однажды, выйдя так впервые, я растерялся и скорее ушёл, будто не поверил своим глазам.

И вот уже сорок с лишним лет я будто проверяю – выхожу по этому большаку к бескрайней воде, и всегда меня сковывает тут немота и неподвижность. Я мысленно всё иду по этой дороге вдаль, иду лугами, мимо деревень всё дальше, дальше, к белеющей церкви... Подыму глаза и не верю: плоская вода до самого горизонта. И не пойму, что за чувство овладевает моей душой. Это новое чувство в нашем роду: ни отец мой, ни деды его не знали, а дети – уже не узнают.

Я – единственное звено родовой цепи, будто новый Ной стою на границе земли и воды – старой и новой жизни. Я поневоле чувствую себя патриархально старым, душа скорбно сжимается, и ноги трудно идут по песку обратно... И, кажется, все эти сорок лет я и не жил вовсе, а плутал где-то, всё время думая о потерянной родине. И до сих пор душа не может поверить, что потеря эта навсегда, навечно.

1992–2002 гг.

Свет слова и тоска по мастеру /Раздумья о творчестве и литературе/

I. Бессонница слова

Слово – материя неведущая, оно вообще не материя, а особая «убористая» форма человеческой жизни.

Бессонница слова есть вечная работа его. Написанное слово работает на протяжении тысячелетий. Возьмем самую известную в мире книгу – Библию. Она начала записываться до Р. Х. и писалась более 1600 лет. С тех пор все изменилось на Земле, не осталось ни одного человека, ни одного города от тех времен в прежнем виде. А мы видим и понимаем ту жизнь. Мы «помним» то время: мы знаем не только слова (звуки, предметы) того времени, мы знаем события, то есть историю того времени, историю взаимоотношений человека с Богом. Более важных событий на Земле не было и нет И слово сумело донести это. Все остальное подверглось тлению. Иногда рукописи как бы уходили от людей, «дремали» сто или тысячу лет. Но стоило их найти человеку – они оживали.

Я писал эти записки на переломе нашего времени, на смене веков (XX–XXI вв.) в период полной растерянности в русской литературе, писал как бы с отчаяния. Я не думал о публикации всего этого, подолгу жил в деревне, один.

Читал только духовную литературу и предавался тягостным раздумьям у топящейся печки, у реки, на охоте в лесу... Иногда уезжал в монастырь, и там отцы тихо поддерживали меня. Поддерживали образом своей жизни, несуетностью, ежедневными церковными службами... И слово предстало мне как часть Божьего дара человеку с полной свободой пользования им. И мы владеем им с большим диапазоном как «производства» (писания произведений), так и восприятия (чтения). Все мы, читающие, живем в разных языковых стихиях, и эти стихии беспрепятственно роднят схожих людей разных веков и даже тысячелетий Слово имеет такое свойство. Оно бессмертно, как духовное родство людей.

1. За мастером всегда стоит тайна И разгадать эту тайну почему-то неудержимо тянет. Даже когда мастера уже нет в живых. Мы вглядываемся в черновики, в семейные фотографии, в перепады биографии, письма... Но полной ясности так и не наступает: ушел тот мир, точнее тот миг в мире, когда душа художника однажды постигла нечто, затрепетала и запомнила... Потом прошли годы, много бед и несчастий претерпел художник лишь ради того, чтобы однажды воссоздать то дивное мгновение, изумиться ему еще раз и оставить навсегда в рукописи, на холсте, в нотных знаках... Как будто кто свыше велит это сделать.

2. Истинные писатели и художники редко и неохотно пишут о самом творческом процессе. Они делают, а не рассуждают. Но сколько желающих постичь их принципы, приемы, закономерности... Сколько талантливых людей топчется в преддверии любого искусства, теряя молодость, здоровье, время... Мне захотелось порассуждать о высоких законах мастерства, о высшем художестве не только ради молодых. Мне и самому интересно потоптаться на подступах к вершинам, которых я никогда не достигну. Это поучительно.

Возможно, и не мне одному.

3. Искусство всегда будет чудом. При любой власти, при любом строе. Общественная и политическая жизнь страны не несет на себе отпечатка современного искусства. Но на искусстве современность отпечатывается и остается надолго. Значит, не политика, а искусство есть последний, высший слой жизни людей. Как мал этот слой нынче. Он худой, не

покрывает даже самое высшее политическое поголовье. Нищета культуры, искусства – это озоновая дыра над страной. Ремонт надо начинать с этой «крыши».

4. Человек похож на своих родителей, а если художник он, то похож еще на свой народ и свое поле, и речку и лес возле реки... Все хотят рассказать о себе (лес и речка), вот и «посылают» они хоть раз за 100 лет одного художника, слова или кисти, в мир, чтобы он заговорил их голосом, красками. Земля имеет право голоса; литература и есть голос земли, произнесенный народом через своего посланца-художника. Поэтому очень уж выдумывать «от себя», не прислушиваясь к голосу и цвету земли, художнику не положено и не стоит. Только то, что звучит в унисон с землей, остается в истории искусства. Остальное хранится как школа поиска, эксперимента и не очень нужно самому народу. Отсюда постоянные споры вокруг авангардистов.

5. У всякого писателя есть родина. Он обязан сделать ее литературной родиной. Иначе он не оправдает свое назначение. Земля за рождение таланта требует ответную плату.

6. Мне кажется, русская литература ближе всех других стоит к Богу. Не знаю, как это объяснить, но думается: она наивнее умом и мудрее душой. Она менее других связана с материалистичностью мира. Мы более, чем кто-либо, озабочены устройством души. Из-за этого во многом проигрываем и много страдаем.

7. В нашей литературе как-то больше описаны дожди, ветер, сырые заборы, метели, заносы, глухие поля и деревни. И все люди чего-то ждут, вечно терпят несправедливость и невзгоды и все никак не могут дождаться порядка «наверху». И так много веков.

Литература наша и развивалась так во многом потому, что стала вмешиваться вместо безголового начальства в жизнь и показывать, как плохо живет народ при всем своем трудолюбии и таланте. И всякое новое протестующее движение эта литература поддерживала и восхваляла. Так докатились мы до всевозможных «лишних людей», до Рахметовых и «буревестников», до ярых предвестников коммунизма, до... нашей партийной и рабочей литературы, объявив ее самой передовой в мире.

Но передовой-то оказалась литература лагерная, котлованная, литература кочегаров, дворников, сторожей – людей подпольной духовной эмиграции. Для многих честных художников это был единственный способ жить и творить, не покидая Родины. Они писали и говорили только ниже первого этажа, а поднимаясь на асфальт, немели.

Сейчас их время.

8. Всякий человек, начиная жизнь, многие ее тайны узнает из литературы. Потом сама жизнь становится интереснее и богаче литературы. А под старость человек снова погружается в литературный мир. Зачем бы?

Мы часто говорим о наличии жизни в ином измерении и тайно мечтаем распахнуть туда дверь и попробовать пожить там. Но, может быть, литература, талантливая ее часть, и есть некое преддверие этой иной жизни, отсвет ее, манящая даль нашего общего будущего. Нет, литература не шалость, не развлечение, это общее усилие человечества раздвинуть границы своей жизни.

9. Всякий писатель создает свою литературную атмосферу.

Он пишет рассказы, повести, очерки... И появляется какая-то местность, люди, события, дороги, разговоры. Потом все это печатается, и пишутся статьи, рецензии, отзывы об этой местности, событиях, людях. Но и сам писатель пишет статьи и отзывы о других. И так создается литературная обстановка, погода, иными словами – вырисовывается литературный портрет времени.

А когда он нарисован и сами творцы уходят, дети и внуки живут уже не на пустом месте, но как бы внутри всего этого. Потом они начинают думать и говорить, что «вот, у них все было, а мы что?» Им становится стыдно и обидно за свое поколение, и они начинают тоже думать, писать, сравнивать себя с ушедшими... Так создается литература и культура

области, края, страны... Культура должна быть многослойна, пласт на пласт, время на время. И уж потом на этих пластах дикари не вырастут, а культурные люди будут жить, изучать и творить сами.

10. И вот я все думаю, зачем мы копили такую глубокую и обширную литературу на протяжении 10 веков... Даже создали миф о загадочности русской души. А сами почти никогда не жили в материальном устройстве, достатке.

Уж не компенсация ли это: не добирали материально – восполняли, уравнивали духовно?

11. Сегодня литературная жизнь в стране не умерла. Она просто контужена. Постепенно у литературы опять появятся и слух, и зрение, и молва (речь), и все, что надо. Но возобновится ли совесть? Вот за это беспокойнее и страшнее всего.

12. Благоприятных условий для литературы никогда не было. Всегда литературные пахари работали по неудобьям: политическим, экономическим, моральным, лично материальным... Досужих литераторов, обеспеченных всем, включая талант, были единицы. И они – не самые крупные звезды на литературном небосводе. Крупные звезды зажигались всегда мучительно.

13. Литература живет на Земле, в земных условиях: в ней и погода по-земному разная. Бывает туманно, дождливо, ветрено, солнечно, метельно... Бывает ночь и утро, полдень и вечер. Бывают наводнения и пожары. Но редко в литературе бывают извержения вулканов, землетрясения.

Под стать этому и впечатления от литературных произведений. Создать произведение вулканического свойства, чтобы задрожала земля, – это под силу только художнику планетарного масштаба.

14. Классика нашей литературы, искусства никуда не ушла и не застарела. Это мы от нее ушли, а точнее, разбрелись, оставив ее в центре без внимания. Мы кружим вокруг этого центра, хватаем, пробуем все подряд на западный манер, то восхищаемся, то негодуем. Видимо, это болезнь нашего роста. Покружим, покружим и вернемся к центру: свои мастера роднее, понятнее, но главное, не хуже заграничных. Сейчас это происходит во всем: в политике, экономике, искусстве, частично религии... Скоро пройдет.

15. Жизнь мало меняется под влиянием писателей, художников, композиторов... Больше всего на нее действуют политики. Но политики ведь тоже получают воспитание с детства, в том числе и через литературу, искусство. Поэтому культура все-таки влияет на жизнь, но... потом, когда художников слова и кисти уже нет в живых. Большей частью именно так и происходит. Культура, как и природа, мстит за неуважение к себе, не всегда сразу, а через поколение, а то и много позднее. Поэтому на критиков и искусствоведов должно распространяться право неприкосновенности, как на судей. В уважающем себя обществе именно так и должно быть.

16. В литературе никогда нет сиротства. Если писатели рождаются и умирают, то литературные герои только рождаются и даты смерти не имеют. Это первая вечная жизнь людей, людьми же созданная.

Однако никто еще не составлял «родословной» литературных героев. И интересно узнать, существует ли она как заданность свыше. До сих пор живут Гамлет, Дон Кихот, Чичиков и имеют множество литературных детей, внуков, правнуков... А кто они?

17. Наша литература притормозила ход своего развития еще и потому, что у писателей «отобрали» главного героя.

В деревне таким героем должен быть бы смекалистый мужик, который ненавидит райкомовское начальство, налоги, рыбинспекторов, у которого все растет на своем участке и вызывает зависть и ненависть в колхозе. Но такой герой всегда был «непроходной». Требовали рисовать коммуниста-председателя и ударницу-доярку, да еще парторга – советского

полубога. И все они должны были дуть в одну дуду – мол, коммунизм не за горами и смерть капиталистам... Но такой литературы по-настоящему так и не получилось. Кажется, один только Бабаевский и отличился со своим «Кавалером». Такая литература хуже пустого места.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.